



Княгиня Мария Николаевна  
Волконская.

(Съ рисунка Соколова 1826 года)

Кн. М. Н. ВОЛКОНСКАЯ.

# ЗАПИСКИ КНЯГИНИ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ВОЛКОНСКОЙ.

Переводъ съ французскаго оригинала

А. Н. КУДРЯВЦЕВОЙ.

Біографіческій очеркъ и примѣчанія

П. Е. ЩЕГОЛЕВА.

КН-ВО „ПРОМЕТЕЙ“  
Н. Н. МИХАЙЛОВА.

К-216/73



БОГУЯН  
ЧОЖЕ

ДІЛІЧНОСТЬ ОЧИСТУВАНИЯ ЗА ДОБУ

ПОВІДОМЛЕНЬ КЪ НА

АВІАФОТОГРАФІЧНОГО ВІДЕОФОТОГРАФІЧНОГО

ДІЛІЧНОСТЬ

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „ТРУДЪ“. Кавалергард. 40.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Отъ издателя . . . . .	7
Подвигъ княгини М. Н. Волконской . . . . .	9
Записки княгини М. Н. Волконской . . . . .	51
Memoires de la Princesse Marie Volkonsky . . . . .	105
Примѣчанія . . . . .	155

кой Н. М. инициированной макетом отца (?)  
П. О. и автором этого макета и макетом же—подлинной  
издательской обложки коттеджеровской «Записок»  
Д. И. Флорине да анонимной книжникомъ отца  
и бывшемъ въ то время сына инженера Р. И. М. авторомъ  
и Э. издадою **ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.**

10 августа 1913 года минуло полвѣка со дня кончины  
одной изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ женщинъ, кня-  
гини Марии Николаевны Волконской.

Н. А. Некрасовъ закрѣпилъ навѣки ея образъ въ  
поэтическомъ возсозданіи, но образъ этотъ кажется еще  
трогательнѣе со страницъ «Записокъ», писанныхъ самой  
Маріей Николаевной и опубликованныхъ впервые ея сы-  
номъ въ 1904 году. Это изданіе, укращенное прекрасно  
выполненными портретами, по цѣнѣ своей не было до-  
ступно всѣмъ читающимъ русскимъ людямъ, а между  
тѣмъ, «Записки» княгини М. Н. Волконской заслуживаютъ  
самаго широкаго распространенія. Настоящее изданіе  
имѣть въ виду сдѣлать ихъ общедоступными.

«Записки» писаны въ подлинникѣ по-французски.  
Воспроизведя подлинникъ по изданію кн. М. С. Волкон-  
скаго, мы предлагаемъ новый ихъ переводъ, сдѣланный  
А. Н. Кудрявцевой.

Вступительная статья написана П. Е. Щеголовымъ;  
ему же принадлежать примѣчанія, основывающіяся на  
неизданныхъ архивныхъ материалахъ.

Къ изданію приложены портреты княгини М. Н. Волконской—въ молодости и въ старости. Портретъ кн. С. Г. Волконского воспроизводится впервые съ оригинала, рисованного художникомъ Мазеромъ въ альбомѣ И. Д. Якушкина. Приложены также портреты и женъ декабристовъ. Портретъ М. К. Юшневской воспроизводится впервые по рисунку карандашемъ изъ собранія В. Е. Якушкина.

## ПОДВИГЪ

# КНЯГИНИ М. Н. ВОЛКОНСКОЙ.

Біографіческій очеркъ

П. Е. ЩЕГОЛЕВА.

Научно-литературный журнал  
«Исторический Вестник»  
Настоящая статья, напечатанная впервые въ 1905 г. въ журнале  
«Исторический Вѣстник», для настоящаго изданія переработана  
и расширена на основаніи матеріаловъ, опубликованныхъ въ  
позднѣйшее время.

Очень интересенъ въ планѣ исторической литературы и литературы о войнахъ Северо-Запада Европы и Азии памятникъ, составленный въ 1813—1814 гг. генераломъ Раевскимъ подъ названиемъ «Составленіе о боевыхъ дѣлахъ въ 1812—1813 годахъ съ описью бывшаго генерала Раевского и его сыновей». Составленіе это было напечатано въ 1815 г. въ Петербургѣ въ типографии А. С. Суворова. Въ немъ Раевскому придается роль героя, а его сыновья — роль историковъ, изложившихъ историю отца.

## I.

Марья Николаевна Волконская вышла изъ замъчательной семьи Раевскихъ. Отецъ ея — известный генераль двѣнадцатаго года, Николай Николаевичъ Раевский; это онъ въ битвѣ подъ Дашковой въ 1812 году, желая остановить отступление русского отряда, вывелъ впередъ своихъ двухъ малолѣтнихъ сыновей. Въ десятихъ и двадцатыхъ годахъ Раевский пользовался необыкновенной популярностью. У всѣхъ на устахъ были стихи Жуковскаго въ «Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ»:

Раевскій, слава нашихъ дней,  
Хвала передъ рядами,  
Онъ первый — грудь противъ мечей  
Съ отважными сынами.

Его характеристику тотъ же Жуковскій даетъ въ слѣдующихъ стихахъ «Бородинской годовщины»:

Неподкупный, непамѣнныи,  
Хладный вождь въ грозѣ военной,  
Жаркий самъ подчасъ боецъ,  
Въ дни спокойные мудрецъ...

Раевскій перешелъ въ потомство съ обычными эпитетами военного героя: храбрый, энергичный, твердой воли, стойкий, благородный, великодушный. Пушкинъ оставилъ его характеристику, не какъ героя, а какъ человѣка: «Я не видѣлъ въ немъ героя, славу русского войска, я въ немъ любилъ человѣка съ яснымъ умомъ, съ простой,

прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого и ласкового хозяина. Свидѣтель екатерининского вѣка, памятникъ 12-го года, человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный, онъ невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его достойныя качества». Въ своей семье Раевскій пользовался беззаконной любовью и преклоненiemъ жены и дѣтей и безконечнымъ авторитетомъ. За эпитетами героя—сильная воля и рѣшимость—скрывался крутой нравъ, упорство, граничившее съ упрямствомъ, и нѣкоторый семейный деспотизмъ. Съ этой стороны Раевскаго ярко характеризуетъ эпизодъ, разсказанный Волконской въ «Запискахъ». Перваго ребенка ей пришлось родить въ семье отца, въ деревнѣ, безъ повивальной бабки. «Отецъ настаивалъ, чтобы я сидѣла въ креслѣ; мать, какъ болѣе опытная въ этихъ дѣлахъ, приказывала, чтобы я легла въ постель во избѣженіе простуды, и вотъ они спорять, а я мучусь, наконецъ, воля мужчины, какъ всегда, взяла верхъ; меня посадили въ большое кресло, гдѣ я перенесла жестокія муки безъ всякой медицинской помощи». Намъ необходимо было сказать эти нѣсколько словъ о Раевскомъ, чтобы понять, что значило спорить съ нимъ, и опѣнить значеніе борьбы, которую вынесла Марья Николаевна передъ отправленiemъ въ Сибирь. Раевскіе—отецъ и дочь—оправдываютъ Шопентауэрскую теорію наследственности: отецъ передалъ дочери сильную волю. Мать Мары Николаевны—Софья Алексѣевна, урожденная Константинова, приходилась внучкой Ломоносову. О ней мы ничего не знаемъ, очевидно, по той причинѣ, что она не играла въ семье первой роли, совсѣмъ скрытая личностью мужа.

Марья Николаевна родилась въ 1805 году<sup>1)</sup>. У насъ

<sup>1)</sup> Годъ рождения М. Н. не поддается точному опредѣленію. Б. Л. Модзалевскій, разслѣдовавшій генеалогію Раевскихъ, въ своей книгѣ «Родъ Раевскихъ герба Лебедь» (СПБ. 1908, стр. 73) даетъ указаніе: «род. 25 декабря 1805 (?)», а въ «Архивѣ Раевскихъ» (СПБ. 1908, т. I, стр. 43)

нѣть свѣдѣній обѣ ея дѣтствѣ. Впослѣдствіи, во мракѣ ссылки, дѣтство рисовалось ей полнымъ безмятежнаго счастья. Семья Раевскаго была одною изъ просвѣщенѣйшихъ русскихъ семей своего времени. Всѣ дѣти — два брата и четыре сестры—получили тщательное воспитаніе и образованіе. Старшій братъ Александръ Николаевичъ—прототипъ пушкинского «Демона».

Его улыбка, чудный взглядъ,  
Его язвительныя рѣчи  
Вливали въ душу хладный ядъ.  
Неистощимой клеветою  
Онъ Провидѣнье искушалъ;  
Онъ звалъ прекрасное мечтою,  
Онъ вдохновеніе презиралъ...

Младшій сынъ Раевскаго, Николай Николаевичъ, любилъ изящную литературу, и былъ ея большимъ цѣнителемъ. Пушкинъ съ интересомъ прислушивался къ его мнѣніямъ. Ему онъ посвятилъ «Кавказскаго Плѣнника» и хотѣлъ посвятить «Бахчисарайскій Фонтанъ». «Едва ли не черезъ Н. Н. Раевскаго и сестеръ, Пушкинъ впервые познакомился съ Байрономъ. Есть положительная свидѣтельства, что подъ ихъ руководствомъ Пушкинъ началъ учиться английскому языку, а въ августѣ 1820 года, когда онъ плылъ съ Раевскимъ на корабль «изъ Азіи въ Европу», уже была написана, подъ живымъ впечатлѣніемъ только что прочитаннаго «Чайлдъ-Гарольда», элегія:

Погасло дневное свѣтило...

сообщаетъ иная свѣдѣнія: «род. 1-го апрѣля 1807». Сынъ М. Н., кн. М. С. Волконскій, категорически утверждаетъ, въ предисловіи къ запискамъ матери, что она скончалась 10 августа 1863 года, 56 лѣтъ отъ роду. Слѣдовательно, по этому указанию, М. Н. родилась въ 1807 году. Сама М. Н. В. въ своихъ запискахъ пишетъ, что, прибывъ въ Казань наканунѣ Новаго—1827—года, она предалась мечтамъ. «Это ребячество было простительно въ моемъ возрастѣ: мнѣ только что минулъ 21 годъ». По ея словамъ выходить, она родилась въ 1805 году, и сообщенная Б. Л. Модзалевскимъ подъ вопросомъ первая дата «25 декабря 1805 года» кажется болѣе достовѣрной. Но М. Н. Орловъ въ одномъ изъ писемъ къ женѣ говорить о 1 апрѣля, какъ днѣ рождения М. Н.

первое стихотворение въ той полосѣ творчества, когда онъ платилъ дань байронизму<sup>1)</sup>. Еще изъ поры дѣтства Марья Николаевна вынесла любовь и интересъ къ литературѣ, которые остались въ ней на всю жизнь. Сынъ ея вспоминаетъ, что въ Сибири она интересовалась больше всего историческими науками и литературой, и въ ея рукахъ никогда не бывало пустой книги. Принадлежа къ семье, стоявшей на уровне современной интеллигентіи, находившейся въ отношеніяхъ—родственныхъ, близкихъ и дружескихъ—съ представителями прогрессивного течения русской жизни, Марья Николаевна имѣла возможность видѣть и слышать самыхъ интересныхъ и самыхъ умныхъ людей, какихъ только могла выставить тогдашняя Россія. А она сама отличалась необычайной привлекательностью. Декабристъ А. Е. Розенъ набросалъ ея портретъ въ слѣдующихъ строкахъ. «М. Н. Волконская, молодая, стройная, болѣе высокаго, чѣмъ средняго роста, брюнетка съ горящими глазами, съ гордою, но плавною походкой, получила у насъ прозванье: «la fille du Gange», дѣвы Ганга; она никогда не выказывала грусти, была любезна съ товарищами мужа, но горда и взыскательна съ комендантомъ и начальникомъ острога». Въ этомъ портретѣ тонко подмѣчена связь физического лица съ духовнымъ. «Горящіе глаза» — неукротимая энергія и жажда жизни; гордость и взыскательность съ каторжнымъ начальствомъ можно опѣнить, лишь вспомнивъ, что фактически Марья Николаевна была въ прямой и полной отъ него зависимости. Характерно название «Дочь Ганга»; известная Зинаида Александровна Волконская, въ домѣ которой провожали въ Сибирь Марью Николаевну, въ лирическомъ отрывкѣ тоже называетъ ее дочерью Ганга: «O, toi qui te vins te reposer dans ma demeure! Toi que je n'ai connue que pendant trois jours et que j'ai nommée mon amie! La reflet de ton image est resté dans mon âme. Mes yeux te voient encore: ta haute taille se déploie devant moi

<sup>1)</sup> Л. Н. Майковъ. Пушкинъ. Спб. 1899, стр. 140, 141.

comme une grande pensée et tes mouvements gracieux me semblent former la mélodie que les anciens prêtaient aux étoiles du ciel. Tu as les yeux, la chevelure et le teinte d'une fille du Gange, et ta vie, comme la sienne, porte le sceau du devoir et du sacrifice»... «У тебя глаза, волосы и цвѣтъ лица — дѣвушки Ганга, и твоя жизнь, подобно жизни этой дѣвушки, носить печать долга и жертвы»<sup>2)</sup>. Зинаида Волконская углубила вѣнчаное сходство наружности во внутреннее соответствие.

Къ сожалѣнію, мы можемъ возстановить исторію юности Марии Николаевны въ самыхъ общихъ очеркѣніяхъ. Подробностей мы не знаемъ.

## II.

На зарѣ юности Марья Николаевна Раевская встрѣтила Пушкина. Это было въ 1820 году. «Пріѣхавъ въ Екатеринславъ,—писаль 24-го сентября 1820 года Пушкинъ брату,—я соскучился, поѣхалъ кататься по Днѣпру, выкупался и схватилъ горячку по моему обыкновенію. Генераль Раевскій, которыйѣхалъ на Кавказъ съ сыномъ и двумя дочерьми, нашелъ меня въ жидовской корчмѣ, въ бреду, безъ лѣкаря, за кружкою оледенѣлаго лимонада. Сынъ его (ты знаешь тѣсную связь и важныя услуги, для меня вѣчно незабвенные), сынъ его предложилъ мнѣ путешествіе по кавказскимъ водамъ». Такъ вошелъ Пушкинъ въ семью Раевскихъ; ко всѣмъ членамъ этой семьи онъ, по выражению Волконской, питалъ чувство глубокой преданности. Съ Кавказа Раевскіе и Пушкинъ отправились въ Крымъ. Въ Юрзуфѣ ихъ ждали остальные члены семьи. Въ Юрзуфѣ,—пишетъ Пушкинъ,—прожилъ я три недѣли. Мой другъ, счастливѣйшія минуты моей провѣль я посреди семейства почтенного Раевскаго... Старшій сынъ его будетъ болѣе, нежели известенъ. Всѣ его

<sup>1)</sup> Oeuvres choisies de la princesse Zeneide Volkonsky, p. 253.

дочери—прелесть; старшая — женщина необыкновенная. Суди, былъ ли я счастливъ: свободная, беспечная жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющія воображеніе горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго».

Творчество этого периода жизни Пушкина свидѣтельствуетъ о его увлечениі, нѣжномъ и страстномъ, но безотвѣтномъ, безнадежномъ. Биографы и издатели сочиненій Пушкина давно уже склонны относить это увлеченіе къ одной изъ дочерей Раевскаго. Но теперь съ полной достовѣрностью мы можемъ говорить, что предметомъ любви Пушкина, любви «отверженной и вѣчной», была, именно, Марія Николаевна<sup>1)</sup>.

Въ 1828 году, когда Марія Николаевна проживала въ Читѣ у острога, гдѣ сидѣла ея мужъ, бывшій князь Волконскій, Пушкинъ написалъ «Полтаву» и посвятилъ поэму Маріи Николаевнѣ. «Посвященіе» трогательно:

Тебѣ... Но голосъ Музы темной  
Коснется ль слуха твоего?  
Поймешь ли ты душою скромной  
Стремленье сердца моего,  
Иль посвященіе поэта,  
Какъ утаенная любовь,  
Передъ тобою безъ привѣта  
Пройдетъ непризнанное вновь?..  
Но если ты узнала звуки  
Души приверженной тебѣ,  
О, думай, что во дни разлуки  
Въ моей измѣнчивой судьбѣ  
Твоя печальная пустыня,  
Твой образъ, звукъ твоихъ рѣчей  
Одно сокровище, святыня  
Для сумрачной души моей...

<sup>1)</sup> Это положеніе развито и обосновано въ моемъ изслѣдованіи «Утаенная любовь Пушкина» въ книгѣ «Пушкинъ. Очерки. Спб.1912». Отсылая за подробностями къ этой статьѣ, здѣсь я ограничиваюсь лишь немногими цитатами.

До самаго послѣдняго времени было неизвѣстно, къ кому относится это «Посвященіе», и только обращеніе къ черновой рукописи и открытие здѣсь варианта «Сибири хладная пустыня» (вмѣсто имѣющагося въ печати «Твоя печальная пустыня») дало опредѣленный отвѣтъ на вопросъ.

«Чувство Пушкина имѣло значительное вліяніе. Объ этомъ можно судить уже по внѣшнимъ признакамъ: по хронологическимъ рамкамъ для этого чувства (1820—1823—1828) и по обилію художественныхъ произведеній, имъ вызванныхъ или хранящихъ его отраженіе. Вѣдь помимо небольшихъ лирическихъ произведеній и незаконченныхъ набросковъ двѣ поэмы: «Кавказскій Плѣнникъ», писавшійся въ то время, когда Пушкинъ былъ поглощенъ этимъ чувствомъ, и «Бахчисарайскій Фонтанъ» въ ихъ психологической части основаны исключительно именно на этомъ любовномъ опыте; «Цыганы» и «Онѣгинъ» заключаютъ не мало оттолосковъ и отраженій этой сердечной исторіи.

«Духъ и творчество Пушкина питались этимъ чувствомъ нѣсколько лѣтъ. Остается открытымъ вопросъ, былъ ли вхожъ Пушкинъ въ семью Раевскихъ еще въ Петербургѣ и не познакомился ли онъ съ Маріей Раевской еще до своей высылки. Когда генералъ Н. Н. Раевскій подобралъ Пушкина больного, въ Екатеринославѣ, съ нимъ изъ 4 его дочерей въ это времяѣѣхали Марія и Софія, а Екатерина и Елена оставались еще въ Петербургѣ съ матерью и выѣхали позже прямо въ Крымъ. Чувство Пушкина могло зародиться еще на Кавказѣ во время совмѣстнаго путешествія, облегчающаго возможность сближенія. Вся семья Раевскихъ соединилась въ Гурзуфѣ въ двадцатыхъ числахъ августа 1820 года. Здѣсь Пушкинъ провелъ «щастливѣйшія минуты своей жизни». Его пребываніе въ Гурзуфѣ продолжалось «три недѣли» и здѣсь расцвѣло и захватило его душу чувство къ М. Н. Раевской, тщательно укрываемое. Мы знаемъ, что съ отѣзломъ Пушкина изъ Крыма не прекратились

Записки кн. М. Н. Волконской.



его встрѣчи съ семьей Раевскаго, и, слѣдовательно, Марію Николаевну Пушкинъ могъ встрѣтить и во время своихъ частыхъ посѣщеній Каменки, Киева, Одессы, и во время наѣздовъ Раевскихъ въ Кишиневъ къ Екатеринѣ Николаевнѣ, жившей тутъ со своимъ мужемъ Орловымъ. Но чувство Пушкина не встрѣтило отвѣта въ душѣ Маріи Николаевны, и любовь поэта осталась нераздѣленной. Рассказъ кн. Волконской въ «Запискахъ» о встрѣчахъ съ Пушкинымъ хранить отолосокъ дѣйствительно бывшихъ отношеній, и надо думать, что для Маріи Раевской, не выдѣлявшей привязанности къ ней Пушкина изъ среды его рядовыхъ, извѣстныхъ, конечно, ей увлеченій, остались скрытыми и глубина чувства поэта, и его возвышенность. А поэтъ, который даже въ своихъ черновыхъ тетрадяхъ былъ крайне робокъ и застѣнчивъ и не осмѣливался написать ея имя, и въ жизни непривычно стѣснялся и, по всей вѣроятности, таился и не высказывалъ своихъ чувствъ. Въ 1828 году, вспоминая въ Посвященіи къ «Полтавѣ» прошлое, поэтъ признавался, что его «утаенная любовь не была признана и прошла безъ привѣта». Этихъ словъ слишкомъ недостаточно, чтобы определить конкретную дѣйствительность, о которой они говорятъ. Въ августѣ 1823 года (въ началѣ одесского периода своей жизни) въ письмѣ къ брату Пушкинъ поминалъ обѣ этой любви, какъ о прошломъ, но это было прошлое свѣжее и недавнее, а воспоминанія были остры и болѣзnenны. Въ это время онъ только что закончилъ или заканчивалъ свою поэму о Фонтанѣ, и ея окончаніе въ душевной жизни поэта вело за собой и нѣкоторое освобожденіе изъ-подъ тягостной власти нераздѣленного чувства. Надо думать, что къ этому времени онъ окончательно убѣдился, что взаимность чувства въ этой его любовной исторіи не станетъ его удѣломъ. Зная страсть природы Пушкина, можно догадываться, что ему не легко далось такое убѣжденіе. Тайная грусть слышна въ часто звучащихъ теперь и иногда насмѣшилъ припѣвахъ его поэзіи—обращеніяхъ къ самому себѣ: полно

воспѣвать надменныхъ, не стоящихъ этого; довольно платить дань безумствамъ и т. д. А уже въ октябрѣ, заканчивая (22 октября) 1-ую главу «Онѣгина», поэтъ писалъ:

Любви безумную тревогу  
Я безотрадно испыталъ.  
Блаженъ, кто съ нею сочеталъ  
Горячу рифмъ: онъ тѣмъ удвоилъ  
Поэзии священный бредъ,  
Петракъ шествия во-слѣдъ,  
А муки сердца успокоилъ,  
Поймаль и славу между тѣмъ;  
Но я, любя, былъ глупъ и нѣмъ.  
Прошла любовь, явилась музъ,  
И прояснился темный умъ.  
Свободенъ, вновь ишу союза  
Волшебныхъ звуковъ, чувствъ и думъ;  
Пишу, и сердце не тоскуетъ;  
Перо, забывшись, не рисуетъ  
Близъ неоконченныхъ стиховъ,  
Ни женскихъ ножекъ, ни головъ;  
Погасшій пепель ужъ не вспыхнетъ  
Я все грущу, но слезъ ужъ нѣть  
И скоро, скоро бури сльдъ  
Въ душѣ моей совсѣмъ утихнетъ...

«Но своей высоты примирительное настроеніе поэта достигаетъ въ «Цыганахъ». Любовь поэта была не признана, отвергнута. Почему случилось такъ, гдѣ законы этого своеволія чувства? Отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ въ «Цыганахъ». Освобожденная отъ узъ закона стихийность чувства признана въ рѣчахъ старого цыгана.

Кто сердцу юной дѣвиѣ скажеть:  
Люби одно, не измѣнись!

• • • • •  
Вольнѣе птицы младость.  
Кто въ силахъ удержать любовь?

«Предъ стихийностью чувства, которое не могло отвѣтить ему, долженъ быть преклониться и поэтъ. Но сознаніе необходимости погасить свое чувство, сознаніе,

вызванное горькой увѣренностью въ безнадежности его, не связывалось у Пушкина съ потемнѣніемъ любимаго образа. И въ юнѣ 1824 года, когда Пушкину пришлось коснуться своего чувства въ письмѣ къ Бестужеву, «мнѣніемъ этой женщины онъ дорожилъ болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ и всей нашей публики».

«Но нераздѣленная любовь бываетъ подобна степнымъ цвѣтамъ и долго хранить ароматъ чувства. Сладкая мучительность замираетъ и смѣняется тихими и свѣтлыми воспоминаніями: идеализація образа становится устойчивой, а невозмущенная реализмомъ чистота общенія содѣйствуетъ возникновенію мистического отношенія къ прошлому. Исключительныя обстоятельства—великія духовныя страданія и героическое рѣшеніе итти въ Сибирь за любимымъ человѣкомъ — съ новой силой привлекли вниманіе поэта къ этой женщинѣ, едва ли не самой замѣчательной изъ всѣхъ, что появились въ Россіи въ ту пору, и образъ ея не только не потускнѣлъ, но и заблисталъ съ новой силой и въ новомъ блескѣ...

Встрѣча въ 1820 году съ Пушкинымъ—красивое введеніе въ сложную и глубокую жизнь, какая выпала на долю М. Н. Раевской.

Намъ извѣстно еще одно увлеченіе, которое не нашло отклика въ сердцѣ Маріи Николаевны.

Когда Раевскіе въ концѣ 2-го и началѣ 3-го десятилѣтія XIX вѣка жили въ Кіевѣ, предводителемъ дворянства въ Кіевской губерніи былъ графъ Густавъ Олизарь, и въ это время онъ завязалъ съ Раевскими знакомство, продолжавшееся очень долго <sup>1)</sup>). О близости знакомства свидѣтельствуетъ, напримѣръ, и тотъ фактъ, что когда Раевскіе въ 1821 году отправились въ гости въ Кипиневъ къ Орловымъ, съ ними былъ и Олизарь. Въ началѣ

знакомства Олизара съ Раевскими Марія Николаевна представлялась ему «мало интереснымъ смуглымъ подросткомъ». На его глазахъ Марія Раевская изъ ребенка съ неразвитыми формами превратилась въ «стройную красавицу, смуглый цвѣтъ лица которой находилъ оправданіе въ черныхъ кудряхъ густыхъ волосъ и пронизывающихъ, полныхъ отня очахъ». Олизарь увлекся Маріей Раевской и былъ сильно и долго въ нее влюбленъ. Но любовь осталась «отверженной». Въ 1823 году онъ сдѣлалъ ей предложеніе и получилъ отказъ. Въ письмѣ отца М. Н., приведенномъ въ «Воспоминаніяхъ» Олизара, мотивомъ отказа было выставлено различие религіи и народности. Олизарь былъ убитъ отказомъ; онъ уединился съ своей сердечной грустью въ купленное имъ въ Крыму помѣстье, которое онъ окрестилъ греческимъ именемъ «Карди Ятриконъ» (лѣкарство сердца). Здѣсь онъ тосковалъ и писалъ сонеты о своей безнадежной любви. О его безнадежной и отвергнутой любви упоминаетъ Мицкевичъ въ одномъ изъ своихъ крымскихъ стихотвореній. Онъ сохранилъ свѣтлую память о Маріи Раевской. «Нельзя не сознаться, пишетъ онъ въ запискахъ, что если во мнѣ пробудились высшія, благородныя, оживленныя сердечнымъ чувствомъ стремленія, то ими во многомъ я былъ обязанъ любви, внушенной мнѣ Маріей Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой было посвящено поэтическое настроеніе, и, благодаря Маріи и моему къ ней влечению, я пріобрѣлъ участіе къ себѣ первого русскаго поэта и пріязнь нашего знаменитаго Адама. По всей вѣроятности, черезъ Раевскихъ Олизарь вошелъ въ знакомство съ Пушкинымъ; обѣ его участливомъ отношеніи къ своей сердечной исторіи онъ вспоминаль, когда писалъ свои «Воспоминанія». Въ одной изъ черновыхъ тетрадей сохранился исчерканный набросокъ посланія Пушкина къ нему. Пушкинъ касается въ немъ и горькаго сердцу Олизара отказа, полученнаго имъ отъ Раевскихъ, и даетъ нѣчто въ родѣ его истолкованія. «Русская дѣва», по словамъ Пушкина,

<sup>1)</sup> См. Pamiętniki (1798—1865) Gustawa Olizara z predm. J. Leszczyca, Lwow. 1892, str. 174. Эти воспоминанія изложены и отчасти переведены А. Ф. Кошловымъ въ «Русск. Вѣстн.» въ статьѣ «Мемуары графа Олизара», 1893, авг. и сентябрь.

Привлекши сердце поляка,  
Не приметъ гордою душою  
Любовь народнаго врага <sup>1)</sup>.

Въ концѣ 1824 года въ кругъ жизни Мары Николаевны вошелъ князь Сергій Григорьевичъ Волконскій, генераль-майоръ и бригадный командиръ, по лѣтамъ годившійся въ отцы Раевской. 18 октября 1824 года С. Г. Волконскій писалъ Пушкину: «Имѣвъ опыты вашей ко мнѣ дружбы иувѣренъ будучи, что всякое доброе о мнѣ извѣстіе будетъ вамъ пріятнымъ, увѣдомляю васъ о помолвкѣ моей съ Марьей Николаевной Раевской. Не буду вамъ говорить о моемъ счастіи». Волконскій былъ давно влюбленъ въ нее, но только въ концѣ 1824 года онъ рѣшился черезъ Михаила Федоровича Орлова просить ея руки. Въ это время Волконскій былъ однимъ изъ энергичнѣйшихъ и искрѣннѣйшихъ членовъ тайного общества; политическая убѣжденія и долгъ передъ обществомъ были для него на первомъ планѣ. Поручая Орлову ходатайствовать за себя, онъ положительно высказалъ, что если извѣстное Орлову участіе въ тайномъ обществѣ будетъ помѣхой въ получении руки М. Н. Раевской, то онъ предпочтеть отказаться отъ личнаго счастья, нежели измѣнить политическимъ убѣжденіямъ и долгу. Волконскій уѣхалъ на Кавказъ и здѣсь ждалъ отвѣта отъ Орлова, разсчитывая въ случаѣ неудачи поступить въ кавказскую армію и искать отвлеченія въ боевой жизни. Орловъ извѣстилъ его, что онъ можетъ сдѣлать формальное предложеніе. Предложеніе было принято по настоянию отца Мары Николаевны Раевской; она выходила замужъ не по своей волѣ, не по личной страсти. Въ «Запискахъ» Волконская по понятнымъ причинамъ не говорить объ этомъ; въ «Запискахъ», написанныхъ въ пятидесятыхъ годахъ, остались лишь слабые отзвуки: «я вышла замужъ

<sup>1)</sup> Отказъ Олизару былъ сдѣланъ не столько «русскої дѣвой» М. Н. Раевской, сколько ея отцомъ. А въ какой мѣрѣ самое М. Н. характеризовали националистическая—вплоть до враждебной къ иноземцамъ окраски—чувств, положительно неизвѣстно.

въ 1825 году за князя С. Г. Волконскаго, достойнѣйшаго и благороднѣйшаго изъ людей; мои родители думали, что обеспечили мнѣ блестящую, по мнѣнію свѣта, будущность. Мнѣ было грустно съ ними разставаться: словно, сквозь подвѣнчный вуаль, мнѣ смутно виднѣлась ожидающая насъ судьба».

Можно думать, что между Марьей Николаевной и Волконскимъ не было духовной близости: она не имѣла понятія о существованіи тайного общества, а онъ былъ весь поглощенъ заговорнической дѣятельностью, до того, что во время свадьбы принималъ участіе въ совѣщаніи русскихъ и польскихъ депутатовъ отъ тайныхъ организаций. Не могли сблизиться они и въ первый годъ брачной жизни. Въ этотъ годъ М. Н. провела со своимъ мужемъ всего три мѣсяца. Послѣ свадьбы она заболѣла и перѣѣхала въ Одессу. Къ концу осени С. Г. Волконскій прїѣхалъ за женой въ Одессу и отвезъ въ Умань, гдѣ стояла его дивизія. Но и въ Умани жена рѣдко видѣла мужа: подходили послѣдніе дни общества, уже окруженного атмосферой подозрѣнія, и Волконскій проводилъ время въ разѣздахъ изъ Умани въ Тульчинъ и обратно.

Краткими и сжатыми штрихами описываетъ Волконская послѣдній мѣсяцъ первого года своей брачной жизни. «Въ концѣ декабря Волконскій вернулся среди ночи и тотчасъ же разбудилъ меня: «вставай скорѣй»; я вскочила, дрожа отъ страха. Я была въ послѣднемъ періодѣ беременности, и это внезапное возвращеніе среди ночи напугало меня. Онъ растопилъ каминъ и стала жечь какія-то бумаги. Я ему помогала, какъ умѣла, спрашивая, что все это значитъ.—«Пестель арестованъ».—«Почему?»—Нѣтъ отвѣта. Вся эта таинственность меня беспокоила. Я видѣла, что онъ былъ печаленъ, чѣмъ-то сильно озабоченъ. Наконецъ, онъ мнѣ объявилъ, что обѣщаю моему отцу отвезти меня къ нему въ деревню на время родовъ,—и вотъ мы отправились въ имѣніе отца, гдѣ онъ меня сдалъ на попеченіе моей матери и немедленно уѣхалъ; тотчасъ по возвращеніи, онъ былъ арестованъ».

стованъ и отправленъ въ Петербургъ. Такъ прошелъ первый годъ нашего супружества; онъ еще не кончился, а Сергѣй уже сидѣлъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ Петрапавловской крѣпости»<sup>1)</sup>.

### III.

Грозно отразился на семье Раевскихъ конецъ 1825 года. Были взяты подъ арестъ и привлечены къ слѣдствію по дѣлу декабристовъ, кромѣ князя Волконского, еще братья Раевскіе, Александръ и Николай, М. Ф. Орловъ, мужъ Екатерины Николаевны Раевской, В. Л. Давыдовъ, братъ по матери Н. Н. Раевскаго старшаго. Только братья Раевскіе ушли отъ суда и наказанія, ихъ рѣшительная непричастность была скоро выяснена, и въ срединѣ января они были уже свободны; имъ было врученъ «очистительный» атtestатъ объ ихъ невинности, дана Высочайшая аудіенція, а въ газетахъ былъ расpubликованъ всемилостивѣйшии реscripтъ на имя ихъ отца. Но дѣла М. Ф. Орлова въ слѣдственной комиссіи складывались неважно и ужъ совсѣмъ отчаянны были дѣла князя Волконскаго.

Александръ Раевскій, который послѣ освобожденія остался въ Петербургѣ, письмомъ отъ 21 января 1826 года просилъ отца пріѣхать въ Петербургъ и лично хлопотать за своихъ зятьевъ. «Что до Волконскаго—писалъ А. Н., то его дѣло гораздо хуже. Его Величество сказалъ мнѣ, что онъ даже не достоинъ того участія, которое ты, вѣроятно, оказываешь ему, ивелѣль мнѣ предупредить тебя обѣ этомъ... Ты можешь своими просьбами много облег-

1) Въ «Запискахъ С. Г. Волконскаго» (1-е изд., стр. 446) этотъ эпизодъ передается совсѣмъ иначе. 2 или 3 января, родился у Волконской сынъ Николай. Отецъ въ это время былъ въ Умани; 5 января онъ безъ официальнаго разрѣшенія прибылъ въ деревню Раевскаго, «обрадовалъ жену и ея семейство, взглянувъ на новорожденного младенца, а 7 января уѣхалъ и былъ арестованъ въ Умани».

чить участіе Волконскаго, а, слѣдовательно, и Маші». Старикъ Раевскій явился въ Петербургъ, но для Волконскаго ничего сдѣлать не могъ. «Волконскому—писалъ онъ дочери Екатеринѣ въ Москву сейчасъ по пріѣздѣ, въ концѣ января—будетъ весьма худо, онъ дѣлаетъ глупости, запирается, когда все извѣстно. Что будетъ съ Машенькой, неизвѣстно. Онъ срамится». Въ февралѣ Раевскій былъ уже на обратномъ пути въ свою Болтышку, но онъ остановился еще у Екатерины Орловой. Въ Петербургѣ остался слѣдить за дѣломъ Александръ Раевскій. 18-го февраля онъ писалъ сестрѣ Екатеринѣ: «Что касается Волконскаго, то нѣть такого ужаса, въ которомъ онъ не быть бы замѣшанъ; къ тому же онъ держитъ себя дурно—то высокомѣрно, то униженѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Его всѣ презираютъ, каждую минуту въ немъ открываютъ ложь и глупости, въ которыхъ отъ принужденъ соznаваться. Бѣдная Маша!» М. Ф. Орловъ 1-го апрѣля писалъ женѣ: «Нынче день рожденія бѣдной Маши. Что я могу прибавить къ этому, кромѣ того, что въ страхѣ за нее я повторяю эту короткую молитву: Умилосердись, Господи, надъ участіемъ Машеньки! Одинъ Богъ можетъ дать ей довольно душевной силы, чтобы стать выше своей участіи».

Но что дѣжалось съ бѣдной Машей въ это время—въ началѣ тяжелаго 1826-го года? Въ этотъ годъ разыгралась трагедія жизни М. Н. Волконской. На основаніи всего того, что мы знаемъ о ея жизни до 1826 года, мы рисуемъ ее увлекательной женщиной, богато одаренной, съ огромной жаждой жизни, но все же пассивной. Она не самостоятельна ни въ семье отца, ни въ своей. Внутреннія скропленныя силы ея души не раскрывались; активность ея «я», сущность ея души еще не проявлялась. Теперь пришло время.

Роды были тяжелые; за ними началось воспаленіе мозга, которое приковало ее къ постели на два мѣсяца. Въ моменты сознанія она спрашивала о мужѣ; ей отвѣчали, что онъ въ Молдавіи, по секретному служебному

порученю. Она вѣрила словамъ, но не долго; ночная сцена передъ арестомъ не могла не прійти въ голову. Наконецъ, она потребовала, чтобы ей сказали всю правду. Получила въ отвѣтъ, что Сергій арестованъ и находится въ Петербургѣ. Какъ разъ въ это время въ С.-Петербургѣ былъ и отецъ ея, а дома въ деревнѣ оставалась одна мать. Лишь только услышала Волконская «правду», сейчасъ же заявила матери, что она ѿдѣтъ въ Петербургъ. Проснулась энергія, рѣшительность стала непреклонной. Что же ей было дѣлать? Кто могъ помочь ей, подсказать ей, какъ поступить? Членъ дружной и тѣсной семьи, она оказалась совершенно одинокой. Родные—и братья, и отецъ—предугадывали, что предстоитъ С. Г. Волконскому, и повинуясь чувству семейного эгоизма, хотѣли бы заставить М. Н. Волконскую совсѣмъ забыть о мужѣ.

Весной, въ апрѣль мѣсяцѣ, въ распутьи Волконская отправилась въ Петербургъ; по дорогѣ завезла ребенка къ теткѣ отца, графинѣ Браницкой; ѿхала день и ночь, очень больная и слабая приѣхала въ столицу, прямо къ матери Волконского, княгинѣ Александрѣ Николаевнѣ, оберъ-гофмейстеринѣ высочайшаго двора. Всльдѣ за Марией Николаевной приѣхала и ея мать. 6-го апрѣля А. Н. Раевской сообщалъ Е. Н. Орловой: «Мама приѣхала сегодня утромъ, Маша здѣсь со вчерашняго вечера. Ея здоровье лучше, чѣмъ я смѣль надѣяться, но она страшно исхудала, и ея первы сильно разстроены. Бѣдная, она все еще надѣется. Я буду отнимать у нея надежды только съ величайшей постепенностью: въ ея положеніи необходима крайняя осторожность». Старикъ Раевской, возвратившійся въ Болтышку и не нашедшій здѣсь дочери, писалъ ей 14 апрѣля: «Неизвѣстность, въ которой о тебѣ, милый другъ мой Машенька, я нахожусь, мнѣ весьма тягостна. Я знаю все, что ожидаетъ тебя въ Петербургѣ. Трудно, и при крѣпкомъ здоровьѣ, переносить таковыя огорченія. Отдай себя на волю Божію! Онъ одинъ можетъ устроить судьбу твою. Не забывай, мой другъ, въ твоемъ огорченіи милаго сына твоего, не забывай отца и мать,

братьевъ, сестеръ, кои всѣ тебя такъ любятъ. Повинуйся судьбѣ; совѣтовъ и утѣшеній я никакихъ болѣе тебѣ сообщить не могу»...

#### IV.

Князь Сергій Волконскій въ это время сидѣлъ въ тѣсномъ, полуутемномъ и сырому казематѣ крѣпости, проходилъ черезъ нравственная мытки допросовъ и былъ въ полной неизвѣстности о женѣ и ребенкѣ, о матери, братьяхъ и сестрѣ. Наконецъ, онъ получилъ способъ вступить въ сношенія съ волей. За деньги ему удалось прислать своей горячо любимой сестрѣ Софѣ Григорьевнѣ маленьку записочку, въ полтора квадратныхъ вершка, на которой уписалось—не болѣе, не менѣе—около 1½ печатныхъ страницы. Съ чувствомъ робости и неувѣренности сообщаетъ онъ сестрѣ: «Уже нѣкоторыя изъ женъ прошли и получили разрѣшеніе слѣдовать за своими мужьями къ мѣсту ихъ назначенія, о которомъ они будутъ предувѣдомлены. Вы падѣть ли мнѣ это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажеть мнѣ въ этомъ утѣшениѣ? Я не сомнѣваюсь въ томъ, что она съ своимъ добрымъ сердцемъ всѣмъ мнѣ пожертвуетъ, но я опасаюсь постороннихъ вліяній, и ее отдалили отъ всѣхъ васъ, чтобы сильнѣе на нее дѣйствовать. Если жена приѣдетъ ко мнѣ на свиданіе, то я бы желалъ, чтобы она приѣхала безъ своего брата, иначе ее totчасъ же уведутъ отъ меня. Врачъ былъ бы при этомъ нужнѣе. Получу ли я отъ своей жены утѣшеніе, въ которомъ другое ужеувѣрены? Я понимаю, какой долгъ лежитъ на ней по отношенію къ сыну, и, конечно, я не рѣшился бы разлучить ее навсегда съ этимъ несчастнымъ ребенкомъ»<sup>1)</sup>). Какое нравственное утомленіе чутается за этими строчками, нанизанными, какъ бисерь, на маленькомъ листочекѣ! Мы знаемъ, что духовной, интимной близости не было ни между жени-

<sup>1)</sup>) Записки С. Г. Волконскаго, 1-е изд., стр. 453.

хомъ и невѣстой, ни между мужемъ и женой. Вспомнимъ ту тревожную ночь, когда Волконскій жегъ свои бумаги. «Пестель арестованъ»,—вырвалось у него. «За что?»—спросила жена. От вѣта нѣтъ. Она была ему такъ далека, такъ чужда ему, что онъ не подѣлился съ ней своими опасеніями, переживаніями. Грустно звучитъ объясненіе, которое даетъ М. Н. Волконская его скрытности. «Онъ былъ старше меня лѣтъ на двадцать и потому не могъ мнѣ довѣриться въ такомъ важномъ дѣлѣ». Но справедливо ли это?

Уединеніе, вольное или невольное, заставляетъ человѣка заглянуть въ себя, въ свою душу. И Волконскій много пережилъ и много передумалъ въ крѣости. Не читаете ли въ мелкихъ строкахъ его письма, что онъ понялъ все горе духовнаго отчужденія? Онъ какъ будто сознаетъ, что у него нѣть права желать подвига отъ жены, а онъ такъ хочетъ этого подвига, онъ уже не можетъ обойтись безъ нравственной поддержки близкаго человѣка, и боится громко, открыто заявить о своемъ желаніи. Мы читаемъ только вопросы: выпадеть ли мнѣ это счастье? получу ли я отъ своей жены утѣшеніе?

А она? что она переживала въ это время? Въ Петербургѣ она, конечно, узнала подробности событія, цѣли и задачи тайного общества. Она узнала, наконецъ, что поглощало весь досугъ и все вниманіе мужа. Мы не знаемъ ея взглядовъ на тайныя общества, но нѣть сомнѣнія, что и среда, ее окружавшая, и даже семья привили ей въ общемъ оппозиціонное настроеніе. Катастрофа могла только повысить его и сдѣлать органическимъ. Но ее поразилъ идеализмъ движенія; въ своихъ «Запискахъ» она не разъ подчеркиваетъ, что участники его не преслѣдовали личныхъ выгодъ; наоборотъ, они шли къ вѣрной гибели. «Дѣйствительно,—пишетъ Волконская,—если даже смотрѣть на убѣженія декабристовъ, какъ на безуміе и политической бредѣ, все же справедливость требуетъ признать, что тотъ, кто жертвуетъ жизнью за свои убѣженія, не можетъ не заслуживать уваженія соотечествен-

никовъ. Кто кладетъ голову свою на плаху за свои «убѣженія», тотъ истинно любить отчество. Быть можетъ, эта особенность движенія—полнѣйшее безкорыстіе—повліяла и на ея окончательное рѣшеніе. Какъ она теперь стала смотрѣть на мужа? Видѣла ли она въ немъ лишь несчастнаго, страдающаго человѣка, или героя, окруженаго ореоломъ, сознавшаго свое право требовать жертвъ отъ другихъ? Но М. Н. Волконская принадлежитъ къ тѣмъ лицамъ, которыхъ признаютъ, что право на ихъ душу принадлежитъ только имъ и никому больше. Поэтому и за мужемъ своимъ она не могла признать этого права. Эту особенность ея рѣшенія необходимо отмѣтить.

М. Н. Волконская просила свиданія съ мужемъ. «Государь, который пользовался всякимъ случаемъ, чтобы проявить свое великодушіе (въ дѣлахъ незначительныхъ), и которому было извѣстное слабое состояніе моего здоровья, приказалъ, чтобы меня сопровождалъ врачъ, боясь для меня всякаго сильнаго волненія» (многозначительный курсивъ самой Волконской!). Марья Николаевна Раевская пріѣхала въ крѣпость съ граffомъ Алексѣемъ Орловымъ. Пошли къ коменданту; привели подъ стражей Волконскаго. Свиданіе при постороннихъ. «Мы ободряли другъ друга, но дѣлали это безъ всякаго убѣженія. Я не рѣшилась его разспрашивать: всѣ взоры были обращены на насъ; мы обмѣнялись платками. Вернувшись домой, я послѣдила посмотреть, что тамъ было, но нашла лишь нѣсколько словъ утѣшенія, которыхъ были написаны на одномъ углу платка и которыхъ я съ трудомъ могла разобрать».

Въ томъ психологическомъ процессѣ, который закончился отѣздомъ въ Сибирь, свиданіе, кажется, единственное, сыграло большую роль. Въ этихъ тюремныхъ свиданіяхъ, мимолетныхъ и поневолѣ (при постороннихъ) холодныхъ, особая острота переживаній. Исчезаютъ перегородки, и близкій, остающійся на волѣ, какъ-то особенно чутко и остро-любовно старается пережить то, что происходитъ въ душѣ находящагося за решетками. Мысли

приковываются къ тѣсной тюремной камерѣ, къ одному лицу. Когда видятся между собой люди, доселѣ не близкіе, то нерѣдко между мужчиной и женщиной возникаетъ процессъ интимнаго сближенія, даже влюбленности, надломленной и больной... И Волконская переживала аналогичный процессъ. Въ это время она понимала участіе къ себѣ, лишь поскольку оно касалось ея мужа. Императрица пожелала видѣть Волконскую. Въ «Запискахъ» сохранились слѣдующія краснорѣчивыя по своей лаконичности строки: «я думала, что императрица хочетъ со мной говорить о моемъ мужѣ, такъ какъ въ подобныхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ я понимала участіе къ себѣ, лишь въ томъ случаѣ, если оно имѣло отношеніе къ моему мужу. Ничего подобнаго: со мной разговаривали о моемъ здоровьѣ, о здоровьѣ отца, о погодѣ»...

V.

Кажется, уже въ этотъ моментъ сердце продиктовало Марью Николаевну рѣшеніе, но воплотить его можно было только послѣ тягостнѣйшей борьбы, послѣ «той изумительной борьбы, гдѣ слабой женщины—полурѣбенку былъ противопоставленъ цѣлый заговоръ мужской хитрости и настойчивости, и гдѣ, въ концѣ концовъ, воля сердца все-же одержала верхъ». Руководителемъ заговора былъ Александръ Раевскій, остальные члены семьи Раевскихъ исполняли только его указанія. Главная цѣль заговора—не допустить Марью Николаевну слѣдовать за мужемъ на каторгу. Для достиженія этой цѣли, во-первыхъ, надо было изолировать Марью Николаевну отъ общенія со всѣми, кто могъ бы вліять на нее въ нежелательномъ для Раевскихъ смыслѣ,—съ семьей Волконскихъ, съ женами декабристовъ, и во-вторыхъ, надо было держать ее въ совершенномъ невѣдѣніи о ходѣ дѣла затѣмъ, чтобы она узнала приговоръ мужа какъ можно позже. Княгиня Волконская въ своихъ запискахъ дѣлаетъ только дели-

катный намекъ: «брать Александръ и отецъ буквально провели меня». О томъ, какъ тягостно усложнило ея жизнь семейное вмѣшательство, мы узнали только въ самое послѣднее время, когда намъ стала известной семейная переписка Раевскихъ<sup>1)</sup>.

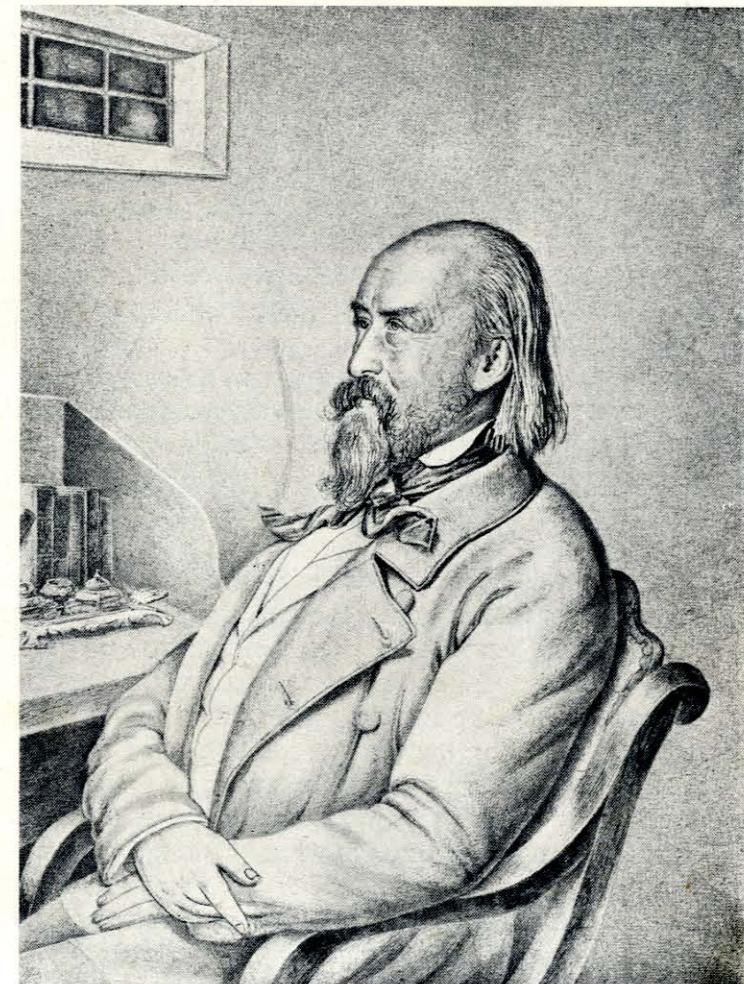
Послѣ свиданія съ мужемъ Волконская нетерпѣливо желала познакомиться съ сестрой мужа, Софьею Григорьевной, которую Сергій Григорьевичъ безконечно любилъ. Она въ это время сопровождала тѣло императрицы Елизаветы Алексѣевны. Братъ Мары Николаевны постарался устраниТЬ встрѣчу сестры съ Софьеей Григорьевной. Онъ убѣдилъ ее юхать посмотрѣть на ребенка и сказалъ, что съ сестрой мужа она встрѣтится въ дорогѣ. Понятно, эта встрѣча не состоялась. Лѣто 1826 года Волконская прошла въ Александріи, имѣніи Браницкихъ. Братъ Александръ былъ на стражѣ. Онъ скрывалъ отъ сестры всякия извѣстія о ходѣ дѣла; онъ вскрывалъ письма на ея имя. Въ письмахъ къ сестрѣ Екатеринѣ Орловой онъ подробно разсказывалъ обѣ отправленіи обязанностей тюремщика при сестрѣ. 1-го июня онъ пишетъ: «Пиши для меня одного... Впрочемъ я вскрываю всѣ письма, адресованныя Машѣ, потому что письма тетушки иной разъ такъ зажигательны, что я не могу отдавать ихъ ей». 9 июня онъ сообщаетъ сестрѣ Еленѣ, жившѣй у Орловыхъ: «Скажи Катѣ, чтобы она не писала Машѣ ничего, относящагося до приговора и суда; она зыбываетъ, что если бы только Маша подозрѣвала близость суда, то не было бы возможности удержать ее здѣсь. Необходимо, чтобы она узнала все какъ можно позже. Послѣдніе дни она очень грустна!.. Недѣлю спустя онъ снова пишетъ: «Маша съ каждымъ днемъ грустнѣе. Она сердится на меня за то, что я не говорю съ нею о дѣлѣ ея мужа, и жалуется на это Сонѣ...

<sup>1)</sup> Эпизодъ семинарскаго воздействиia на княгиню М. Н. Волконскую разсказанъ въ книгѣ М. О. Гершензона «Исторія молодой Россіи» М. 1908 (статья М. Ф. Орлова) на основаніи семейныхъ писемъ, сохранившихся у потомковъ М. Ф. Орлова. Всѣ цитируемые нами письма Раевскихъ взяты изъ этой статьи.

22 июня А. Н. Раевский пишет отцу: «въ своихъ письмахъ ко мнѣ ты пишешь о приговорѣ, о категоріяхъ и пр., и Катя тоже, поэтому я не могу показывать вашихъ писемъ Машѣ. Пожалуйста, пишите ей отдельно, не говоря ничего, а мнѣ—со всѣми возможными подробностями»... Наконецъ, 12 июля былъ объявленъ приговоръ; А. Н. Раевский не сообщилъ о немъ сестрѣ, онъ ждалъ приведенія его въ исполненіе, т. е. отправленія Волконскаго въ Сибирь. А пока въ письмахъ къ сестрѣ онъ занялся разработкой плана жизни Маріи Николаевны въ ближайшую зиму. «Что касается ея самой—писаль онъ 31 июля Екатеринѣ Орловой—то когда она узнаетъ о своемъ несчастіи, у нея, конечно, не будетъ никакихъ желаній. Онъ сдѣлаетъ и должна сдѣлать лишь то, что посовѣтуетъ ей отецъ и я».

Но Александръ Раевский глубоко ошибся. Когда онъ, наконецъ, сообщилъ сестрѣ приговоръ, она сейчасъ же заявила ему, что послѣдуетъ за мужемъ въ Сибирь. Онъ, кажется, не повѣрилъ и приказалъ ей не двигаться съ мѣста, пока онъ не вернется изъ Одессы. Но на другой же день послѣ его отѣзда княгиня съ ребенкомъ выѣхала въ Петербургъ. Она заѣхала въ Яготинъ Полтавской губерніи къ брату мужа князю Репнину. Она застала его больнымъ, и только спустя нѣкоторое время онъ съ своей женой и Марьей Николаевной отправился въ Петербургъ. Итакъ, она ушла отъ опеки брата, но въ Петербургъ ждалъ ее отецъ. 23 октября онъ писаль дочери Орловой: «Я жду Машеньку съ сыномъ вмѣстѣ съ княгиней Репниной всякую минуту. Буду ее удерживать отъ вліянія эгоизма Волконскихъ». А 5 ноября онъ писаль: «Вчераѣ прѣхала дочь моя Машенька. Ее Репнина обманомъ склонила отправиться сюда, будто старая Волконская ѿдетъ къ сыну; но я все это привѣль въ порядокъ». Но напрасно Н. Н. Раевский думалъ, что въ рѣшеніи М. Н. играли роль какія-либо увѣщанія со стороны Волконскихъ: изъ ея записокъ мы знаемъ, что родные мужа совсѣмъ не оказали ей теплого пріема.

Предстояло самое главное и самое трудное. Самое



Кн. С. Г. Волконскій.

(Съ портрета, писанного карандашомъ Мазеромъ).

Изъ собранія В. Е. Якушкина.

главное—получить разрешение государя следовать за мужем въ Сибирь. Въ это время уже ходили слухи, что отъезжающимъ лишены права взять съ собой своихъ дѣтей и возвратиться въ Россію до смерти своихъ мужей. Волконская обратилась къ государю съ письмомъ и получила слѣдующій отвѣтъ: « Я получила, княгиня, ваше письмо отъ 15 числа сего мѣсяца; я прочель въ немъ съ удовольствиемъ выраженіе вашихъ чувствъ ко мнѣ за то участіе, которое я въ васъ принималъ; но во имя этого участія къ вамъ я и считаю себя обязанннымъ еще разъ повторить здѣсь предостереженія, которыя я вамъ уже высказывалъ, относительно того, что вѣсть ожидаетъ, лишь только вы проѣдете за Иркутскъ. Впрочемъ, предоставлю вполнѣ вашему усмотрѣнію, сударыня, избрать тотъ образъ дѣйствій, который вы найдете наиболѣе подходящимъ въ вашемъ настоящемъ положеніи. Преданный вамъ Николай, 1826 г., 21 декабря».

Дальше мы остановимся на томъ, что ожидало Волконскую за Иркутскомъ. Императоръ Николай Павловичъ рѣшительно не желалъ, чтобы жены декабристовъ следовали за мужьями. Основнымъ мотивомъ было присущее императору представление, что само сочувствіе къ лицамъ, исходившее хотя бы отъ ихъ женъ, является выражениемъ преступного сочувствія къ совершенному ими. Два раза Николай Павловичъ хотѣлъ отклонить Волконскую отъ принятаго ею намѣренія: одинъ разъ догналъ ее фельдегерь на склонахъ Урала, и другой разъ убѣжалъ иркутский губернаторъ.

Но самое трудное—разстаться съ семьей. Семейному эгоизму суждено было понести тяжелое пораженіе. Предоставимъ слово самой Волконской: «Теперь я должна разсказать вамъ сцену, которую я буду помнить до послѣдняго вздоха. Мой отецъ былъ все это время мраченъ и неприступенъ. Однако мнѣ нужно же было ему сказать, что мы должны разстаться и что я и назначаю его опекуномъ своего бѣдного малютки, котораго мнѣ не позволили взять съ собою. Я показала ему письмо его вели-

чества; тогда мой бѣдный отецъ, не владѣя болѣе собою, поднялъ кулаки надъ моей головой и вскричалъ: «Я тебя прокляну, если ты черезъ годъ не вернешься». Я ничего не отвѣтила, бросилась на кушетку и спрятала лицо въ подушку. Мой отецъ, этотъ герой 1812 года, обладавшій твердымъ и возвышеннымъ характеромъ,—этотъ патріотъ, который при Дашковѣ видя, что войска его дрогнули, схватилъ двоихъ своихъ подростковъ-сыновей и бросился съ ними въ огонь непріятеля, былъ нѣжно-любящимъ семьяниномъ; онъ не могъ вынести мысли о моемъ изгнаніи, мой отѣздъ представлялся ему чѣмъ-то чудовищнымъ».

Н. Н. Раевскій-старшій 3 декабря 1826 года писалъ сыну изъ Москвы: «Машенька по первому пути ёдетъ въ Иркутскъ,—я не смѣль отказать ей въ этомъ, она здорова, надѣюсь, что черезъ годъ мы ее увидимъ». Князь Петръ Михайловичъ Волконскій спросилъ княгиню Волконскую, передъ ея отѣздомъ въ Сибирь: «Увѣрены ли вы въ томъ, что вернетесь?—«Я совсѣмъ этого и не желаю,—отвѣтила она,—а если и вернусь, то не иначе, какъ съ Сергеемъ, но, ради Бога, не говорите этого моему отцу». Когда Волконская говорила это, она, очевидно, думала, что возвратъ въ Россію будетъ все же въ ея власти, и не хотѣла вѣрить угрозѣ—«поѣдешь въ Сибирь, не возвратишься». Этой угрозѣ не вѣрилъ первое время и отецъ ея Н. Н. Раевскій, но онъ уже въ началѣ 1827 года зналъ, что, если бы и была возможность возврата въ Россію, его дочь все-равно не вернулась бы. Но въ то же время онъ и не улавливаль истинныхъ мотивовъ поступка дочери: то онъ продолжалъ думать, что она настроена «волконскими бабами», то начинать вѣрить, что она поѣхала «отъ любви къ мужу».

Сохранились два трогательнѣйшихъ письма Н. Н. Раевскаго къ дочери Е. Н. Орловой; въ этихъ человѣческихъ документахъ напло себѣ выраженіе неразрываемое соединеніе отцовской любви и отцовской муки за дочь. «Ты

<sup>1)</sup> Архивъ Раевскихъ. Томъ I, стр. 304.

не совсѣмъ справедливо судишь, мой другъ Катенька—пишеть онъ 20 марта 1827 года.—И ты также подвержена экзальтациі, но энтузіазмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ до нѣкоторой степени, есть даръ Божій, переступая же черту, обращается въ сумашествіе.

«Если бъ я зналъ въ Петербургѣ, что Машенька ёдетъ къ мужу безвозвратно и ёдетъ отъ любви къ мужу, я бъ и самъ согласился отпустить ее навсегда, погрести ее живую; я бъ ее оплакалъ кровавыми слезами, и не менѣе отпустилъ бы ее. Если бъ ты была въ ея несчастномъ положеніи, я бъ сдѣлалъ то же.

«Возвратясь изъ Петербурга, я узналъ отъ брата твоего и сестеръ, что М. имъ говорила, что мужъ бываетъ ей не-сносенъ. Мужъ и отецъ, погубивъ жену, какъ погубилъ Волконскій, теряетъ всѣ свои права на сердце жены своей; священные и свѣтскіе законы уничтожаютъ справедливо бракъ. Но если изъ-за этого сердце жены влечеть ее къ мужу, какъ я полагалъ М., тогда никто не долженъ препятствовать ей въ исполненіи ея желаній. Я то и сдѣлалъ, но полагалъ не безъ причины послѣ, что она знала, что она ёдетъ навсегда, и что она меня обманывала.—Письмо ея, вчера полученное, доказываетъ мнѣ противное,—но не менѣе она не чувствуя своему послѣдовала, поѣхавъ къ мужу, а вліянію волконскихъ бабъ, которая похвалами ея геройству увѣрили ее, что она героиня,—и она поѣхала, какъ дурочка. Нельзя мнѣ не негодовать на нее: она должна имѣть болѣе довѣренности ко мнѣ и къ моему разсудку, чѣмъ къ сквернымъ В—мъ; мнѣ и спокойствіе, и слава ея должны быть драгоценны. Если бъ я могъ надѣяться, что ея заблужденіе не исчезнетъ, тогда бъ я не жалѣлъ о ея поступкѣ; но это не въ существѣ вещей, а между тѣмъ она единороднаго своего сына оставила безъ слезинки!

«Мой другъ! сердце отца не можетъ сохранить долго отгорченія своего на дѣтей своихъ, и источникъ онаго доказываетъ привязанность мою къ ней. Я не показалъ ей ни капли онаго и никому не далъ подозрѣвать его, кромѣ

тебя. Адресуясь съ онымъ къ тебѣ, я выбралъ того, кто не будетъ возбуждать его. Мой другъ, если-бы ты знала, что мнѣ стоитъ Машенька здоровья, ты бѣ извинила мою чувствительность.

«Письмо ея отъ 29-го января, писанное изъ Иркутска, принесло не малое утѣшеніе. Или она не знаетъ, что ей не позволено будеть возвратиться, или сіе запрещеніе существуетъ только для удержанія женъ несчастныхъ отъ поѣздки въ Сибирь. Милосердный Государь нашъ не будетъ наказывать несчастныхъ и невинныхъ жертвъ своей любви къ мужьямъ за оную, и, конечно, чрезъ нѣкоторое время имъ позволено будеть возвратиться. Дай Богъ мнѣ дожить до этого! Я тебѣ говорю, мой другъ, что письмо ея усладило мою горесть, и въ самую нужную для сего минуту, ибо за часъ до получения онаго я писалъ къ Машенькѣ, и писалъ въ первый еще разъ по ея отѣзду».

Во второмъ письмѣ отъ 17 апрѣля того же года Раевскій писалъ:

«Неужто ты думаешьъ, мой другъ Катенька, что въ нашей семье нужно запищать Машеньку, Машеньку, которая, по моему мнѣнію, поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движенію, а по постороннему вліянію дѣйствуетъ, но не менѣе она въ несчастіи, какого въ мірѣ жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешьъ, что могутъ сердца наши закрыться для нея? Но полно и говорить объ этомъ. Въ письмахъ своихъ она все оправдываетъ свой поступокъ, что доказывается, что она не совсѣмъувѣрена въ добротѣ онаго. Я сказалъ тебѣ, мой другъ, одинъ разъ: Ѳхать по любви къ мужу въ несчастіи—почтенно. Не будемъ возвращаться къ этому предмету. Дай Богъ, чтобы наша несчастная Машенька осталась въ этомъ заблужденіи, ибо опомниться было бы для нея еще болѣшимъ несчастіемъ».

Марья Николаевна не вернулась ни черезъ годъ, ни позже. Борьба за пребываніе въ Сибири не прекратилась и продолжалась въ письмахъ, за которыхъ послѣ смерти

отца Волконская упрекала себя... Но когда Николай Николаевичъ Раевскій умиралъ въ своемъ кіевскомъ имѣніи, окруженный семьей, онъ вспомнилъ о Марью Николаевнѣ и, указывая на ея портретъ, сказалъ своему сыну: «Voilà la plus admirable femme que j'aie connue». Несправедливость семейнаго этоизма была признана.

## VI.

Оставалось пройти черезъ «надрывы» прощаній. Съ отцомъ—молча; благословилъ и отвернулся. Съ ребенкомъ—у ляльки на колыняхъ. Онъ долго игралъ краснымъ сургучемъ печати того письма, которымъ разрѣшалась поѣздка въ Сибирь... Въ Москвѣ—долгій, мучительный вечеръ прощанія у Зинаиды Волконской... Зинаида Волконская собрала почти всю московскую интеллигенцію, пригласила итальянскихъ пѣвцовъ и нѣсколько талантливыхъ дѣвицъ московского общества. Быть и Пушкинъ... Въ бумагахъ Веневитинова сохранилось прекрасное описание этого вечера 26 декабря 1826 года, которое мы позволимъ себѣ привести цѣликомъ: оно прекрасно рисуетъ «надрывъ» Волконской.

«Вчера провелъ я вечеръ, незабвенный для меня. Я видѣлъ во второй разъ и еще болѣе узналъ несчастную княгиню Марію Волконскую, коей мужъ сосланъ въ Сибирь, и которая 6-го января сама отправляется въ путь, вслѣдъ за нимъ, вмѣстѣ съ Муравьевой. Она нехороша собой, но глаза ея чрезвычайно много выражаютъ. Третьего дня ей минуло двадцать лѣтъ; но такъ рано обреченная жертва кручинь, эта интересная и вмѣстѣ могучая женщина—больше всего несчастія. Она его преодолѣла, выплакала; источникъ слезъ уже иссохъ въ ней. Она уже увѣрилась въ своей судьбѣ и, рѣшившись всегда носить ужасное бремя горести на сердцѣ, повидимому, успокоилась. Въ ней угадываешь, чувствуешь ея несчастіе, ибо она даже перестала и бороться съ нимъ. Она

хранить его въ себѣ, какъ залогъ грядущаго. Помнить, что она мать, и рѣшилась спасти дочь свою, жертвуя сама собою. Прискорбно на нее смотрѣть и вмѣстѣ завидно. Есть блаженство и въ самомъ несчастіи! Она видитъ въ себѣ божество, ангель-хранителя и утѣшителя двухъ существъ, для которыхъ она теперь уже одна осталась, и все въ мірѣ! Для нихъ она, какъ Христосъ для людей, обрекла себя на жертву—славная жертва! Утѣшительная мысль для меня! Она теперь будетъ жить въ мірѣ, созданномъ ею собою. Въ вдохновеніи своемъ она сама избрала свою судьбу и безъ страха глядѣть въ будущее.

«Она чрезвычайно любить музыку. Музыка одна только и можетъ согласоваться съ ея чувствами въ теперешнемъ ея положеніи. Когда въ часъ роковой всѣ надежды наши утрачены; когда коварная судьба поймала насть въ ужасные свои ковы, и прошедшее и настоящее блаженство однимъ ударомъ пресѣчены; когда воспоминаніе о немъ становится источникомъ слезъ обѣ его утратѣ, ибо легче сносить несчастія отъ рожденія, нежели въ лѣта зреѣлія; когда мы уже постигаемъ свою участь, вполнѣ сознаемъ ее и самихъ себя, быть лишенными земного рая и съ верху блаженства быть ввергнуты въ бездну гибели, когда всѣ свѣтлыя, радужныя картины стерты для насть въ будущемъ, и взоръ нашъ угадываетъ въ немъ одну только мрачную, беспредѣльную, однообразную пустыню,—тогда можетъ ли нашъ умъ заниматься изъясненіемъ себя понятія, можетъ ли фантазія представлять опредѣленные образы? Одно глубокое чувство меланхоліи овладѣваетъ всѣмъ нашимъ существомъ. Оно неизъяснимо, оно таится отъ всѣхъ и тайно для насть самихъ, но мы не хотимъ, чтобы оно въ насъ спало. Мы стараемся удерживать его, находимъ нѣкоторыя утѣшенія въ томъ, чтобы его возбуждать. Это въ природѣ нашей. И что же согласнѣе музыки можетъ раздаваться въ душѣ нашей, тогда какъ всѣ струны нашего сердца растроганы симъ чувствомъ и сливаются въ одинъ вѣчный звукъ печали?

«Она, въ продолженіе цѣлаго вечера, все слушала,

какъ пѣли, и когда одинъ отрывокъ былъ отпѣтъ, то она просила другого. До двѣнадцати часовъ ночи она не входила въ гостиную, потому что у К. З. (княгини Зинаиды Александровны Волконской) много было гостей, но сидѣла въ другой комнатѣ за дверью, куда къ ней безпрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывокъ изъ «Agnes del Maestro Raer былъ пресѣченъ въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ несчастная дочь умоляетъ еще несчастнѣйшаго родителя о прощаніи своемъ. Невольное сближеніе злосчастія Агнесы или отца ея съ настоящимъ положеніемъ невидимо присутствующей родственницы своей отняло голосъ и силу у К. З., а бѣдная сестра ея по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотѣла, чтобы это примиѣти въ другой комнатѣ: ибо въ такомъ случаѣ всѣ бы ее окружили, а она страшится, чуждается свѣта, и это понятно. Остатокъ вечера былъ печаленье. Легкомысленнымъ, безъ сомнѣнія, показался онъ скучнымъ, какъ ни старались прерывать глубокое, мрачное молчаніе нѣкоторыми шутливыми дуэтами. Но человѣкъ съ чувствомъ, который хоть изрѣдка уже привыкъ обращаться на самого себя и относить къ себѣ все, что его ни окружаетъ, необходимо долженъ быть думать, много думать. Я желалъ въ то время, чтобы всѣ добрые стали счастливцами, а собственное впечатлѣніе сего вечера старался увѣковѣчить въ себѣ самомъ. Но подобныя движения души и безъ того не пропадутъ. Когда всѣ разѣхались, и осталось только очень мало самыхъ близкихъ и входящихъ къ К. З., она вошла сперва въ гостиную, сѣла въ уголъ, все слушала музыку, которая для нея не переставала, восхищалась ею, потомъ робко приблизилась къ клавикордамъ, смѣла уже глядѣть на тѣхъ, которые возлѣ нихъ стояли, сѣла на диванъ, говорила тихимъ голосомъ очень мало, изрѣдка улыбалась; иногда облако воспоминаній и ожиданій затмевало ея глаза, но она обѣими руками закрывала тогда свое лицо и старалась побѣдить свое чувство. Она всѣхъ просила ей спѣть что-нибудь, просто-

дущно увѣряя, что память этого участія, которое принимаютъ въ ея положеніи, облегчить ея трудный путь въ Сибирь. И до меня очередь дошла. Я пѣть не умѣю, но отказать ей не смѣль и кой-какъ проворчаль ей дуэтъ изъ «Донъ-Жуана». Одному пѣть у меня тогда бы голоса недостало. Она меня благодарила, какъ и всѣхъ; видно, что это не изъ приличія, потому что она не тратила много словъ, но каждое слово было похоже на нее самое, согласовалось съ выражениемъ ея лица. Для нея велѣла К. З. изгототовить ужинъ: ибо становилось уже поздно, и примѣтно было, что она устала, хотя она сама въ этомъ не сознавалась. Во время ужина она не плакала, не рыдала, но старалась насть всѣхъ развлечь отъ себя, говоря вообще очень мало, но говоря о предметахъ постороннихъ. Когда встали изъ-за стола, она тотчасъ пошла въ свою комнату. И мы уѣхали уже послѣ 2-хъ часовъ. Я возвратился домой съ душою полною, и никогда, мнѣ кажется, не забуду этого вечера.

«Въ этой женщинѣ изрѣдка и невольно вырываются слова, означающія досаду. Говорили о концертѣ, данномъ въ пользу Семенова (крѣпостного скрипача) для освобожденія его, и сказали, что зачинщики сего благодѣянія претерпѣли иѣкотораго рода непріятности за то. Она тотчасъ съ жаромъ примѣтила: «On a trouv  que c tait trop lib ral».

А князь Вяземскій писалъ А. И. Тургеневу 6 января 1827 г.: «На-дняхъ видѣли мы здѣсь проѣзжающихъ да-лѣе Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное обреченіе. Спасибо женщинамъ: онѣ дадутъ иѣсколько прекрасныхъ строкъ нашей исторіи. Въ нихъ, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думаетъ о Славѣ, а увлекается, поглощается однимъ чувствомъ тихимъ, но всеобъемлющимъ, всеодолѣвающимъ. Тутъ ничего иѣть для Галлереи: да и гдѣ у насъ Галлерея? Гдѣ публичная оцѣнка дѣяній?»

VII.

27 декабря 1826 года М. Н. Волконская выѣхала изъ Москвы. Черезъ двадцать дней она была въ Иркутскѣ. Здѣсь ожидало ее послѣднее испытаніе. Иркутскому гражданскому губернатору было предписано употребить все-возможныя мѣры, чтобы отклонить женъ декабристовъ отъ ихъ намѣренія. «Такъ какъ ссылънымъ декабристамъ было запрещено писать родственникамъ, то надѣялись, что этихъ несчастныхъ скоро забудутъ въ Россіи, между тѣмъ, какъ женамъ невозможно было запретить писать и тѣмъ поддерживать родственныя отношенія». Всѣ помнить въ поэмѣ Некрасова надрывающую душу сцену объясненія губернатора съ княгиней Трубецкой:

Простите! да, я мучилъ васъ,  
Но мучался и самъ,  
Но строгій я имѣль приказъ  
Преграды ставить вамъ,—

говорить въ концѣ объясненія губернаторъ. Этотъ строгій приказъ былъ опубликованъ лишь въ самое послѣднее время<sup>1)</sup>. Его стоить привести цѣликомъ, чтобы читатель могъ сопоставить строфы поэмы съ сухими и безстрастными строками официальной бумаги и представить въ своемъ воображеніи картину послѣдняго испытанія. Предписаніе было высочайше одобрено и подписано генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири Лавинскимъ. Вотъ его текстъ:

«Изъ числа преступниковъ, верховнымъ уголовнымъ судомъ къ ссылкѣ въ каторжную работу осужденныхъ, отправлены иѣкоторые въ Нерчинскіе горные заводы.

«За сими преступниками могли послѣдовать ихъ жены, не знающія ни мѣстныхъ обстоятельствъ, ни существующихъ о ссылочно-каторжныхъ постановленій и не предви-

<sup>1)</sup> Въ нашей статьѣ «О русскихъ женщинахъ» Некрасова, въ связи съ вопросомъ о юридическихъ правахъ женъ декабристовъ, въ сборнике «Къ свѣту» (1904) и въ книжѣ «Исторические этюды», Спб., 1913.

дящія, какой, по принятіемъ въ Сибири правиламъ, подвергнутъ онъ себя участі, соединясь съ мужьями въ тендершнемъ ихъ состояні.

«Мѣстное начальство неукоснительно обязано вразумить ихъ со всею тщательностью, съ какимъ пожертвованіемъ сопрягается таковое ихъ преднамѣреніе, и стараться сколько возможно отъ оного предотвратить.

«При томъ легко статья можетъ, что многія изъ нихъ, имѣя достаточное состояніе, возьмутъ съ собою значительныя суммы и драгоцѣнныя вещи, ввозъ коихъ въ край бѣдный, населенный людьми буйными и развратными, не обѣщаетъ добрыхъ послѣствій и потому не долженъ быть дозволенъ.

«Самые крѣпостные люди, которые могли бы за ними прибыть, не обязаны раздѣлять участі, добровольно госпожами ихъ принимаемой.

«Сообразивъ сіе и зная, что жены осужденныхъ не иначе могутъ слѣдовать въ Нерчинскъ, какъ черезъ Иркутскъ, я возлагаю на особенное попеченіе вашего префосходительства употребить всѣ возможныя внушенія и убѣженія къ остановленію ихъ въ семъ городѣ и къ обратному отѣзду въ Россію.

«Внушенія могутъ состоять въ томъ:

«1) Что, слѣдуя за своими мужьями и продолжая супружескую съ ними связь, онъ естественно слѣдаются причастными къ ихъ судьбѣ и потеряютъ прежнее званіе, то-есть будутъ уже признаваемы не иначе, какъ женами ссылочно-каторжныхъ, а дѣти, которыхъ приживутъ въ Сибири, поступятъ въ казенные крестьяне.

«2) Что ни денежныхъ суммъ, ни вещей многоцѣнныхъ, взять имъ съ собою, коль скоро отправятся въ Нерчинскій край, дозволено быть не можетъ: ибо сіе не только воспрещается существующими правилами, но необхолимо и для собственной безопасности ихъ какъ отправляющихъся въ мѣста, населенные людьми, на всякия преступленія готовыми, и слѣдственно, могущихъ подвергнуться

при провозѣ съ собою денегъ и вещей опаснымъ происшествіямъ.

«3) Что съ отбытиемъ ихъ въ Нерчинскъ уничтожаются также и права ихъ на крѣпостныхъ людей, съ ними прибывшихъ.

«Съ тѣмъ вмѣстѣ должно обратиться къ убѣженіямъ, что перѣѣздъ въ осенне время чрезъ Байкалъ чрезвычайно опасенъ и невозможенъ, и представить, хотя мнимо, недостатокъ транспортныхъ казенныхъ судовъ, безнадежность таковыхъ у торгующихъ людей, состоящихъ, и прочія тому подобныя учтивыя отклоненія; а чтобы успѣхъ оныхъ вѣрнѣе былъ достигнутъ, то ваше префосходительство не оставите принять и въ самомъ домѣ вашемъ, который, безъ сомнѣнія, будутъ онъ посѣщать, такія мѣры, чтобы въ частныхъ съ ними разговорахъ находили онъ утвержденіе таковыхъ убѣженій.

«По исполненіи сего съ надлежащею точностью, если и затѣмъ окажутся въ числѣ сихъ женъ нѣкоторыя не-преклонныя въ своихъ намѣреніяхъ: въ такомъ разѣ, не препятствуя имъ въ выѣздѣ изъ Иркутска въ Нерчинскій край перемѣнить совершенно ваше съ ними обращеніе, принять въ отношеніи къ нимъ, какъ къ женамъ ссылочно-каторжныхъ, тонъ начальника губерніи, соблюдающаго строго свои обязанности, и исполнить на самомъ дѣлѣ то, что сперва сказано будетъ въ предостереженіе и вразумленіе, а именно:

«а) Всѣ имѣющіяся у нихъ деньги, драгоцѣнныя вещи, серебро и прочее, по надлежащемъ описаніи лично при нихъ и по утвержденіи описи собственноручнымъ подписаніемъ тѣхъ, кому сіе имущество принадлежать будетъ, отобрать отъ тѣхъ и, опечатавъ, отдать къ храненію въ Иркутское губернское казначейство. Но мѣру сю для отклоненія всякаго сомнѣнія привести въ дѣйствіе чрезъ нарочитую комиссию, составя оную подъ предсѣдательствомъ вашимъ изъ одного или двухъ членовъ главнаго управлѣнія и губернскаго прокурора. Впрочемъ, прогоны

на проѣздъ до Нерчинска выдать имъ изъ числа собственныхъ ихъ денегъ.

«б) Изъ крѣпостныхъ людей, съ ними прибывшихъ, дозволить слѣдовать за каждою токмо по одному чело-вѣку, но и то изъ числа тѣхъ, которые добровольно на сіе согласятся и дадутъ или подписки собственноручныя, или за неумѣніемъ грамотѣ личныя показанія въ полномъ присутствіи губернскаго правленія. Остальнымъ же предоставить возвратиться въ Россію и снабдить ихъ пропускными.

«Указавъ съ моей стороны средства, на законныхъ постановленіяхъ основанныя, которая служать руководствомъ въ дѣйствіяхъ по сему предмету, и ожидая отъ вѣшего превосходительства исполненія оныхъ въ совершенной точности, и надѣясь, что вы и по собственной предусмотрительности своей не оставите употребить всѣхъ возможныхъ способовъ къ достижению собственно той цѣли, чтобы послѣдовавшихъ за осужденными преступниками женъ рѣшительно отвратить отъ исполненія ихъ намѣренія, происшедшаго отъ незнанія мѣстныхъ обстоятельствъ Сибири и постановленій, о семъ краѣ существующихъ. Но если бы всѣ усилия ваши оказались тщетными, то ваше превосходительство, дѣйствуя въ отношеніи къ нимъ по назначению сему, не оставьте немедленно увѣдомить меня о всѣхъ обстоятельствахъ, къ симъ женамъ относящихся, и вообще о мѣрахъ, какія вами будутъ принимаемы.

«Наконецъ, если бы которая либо изъ нихъ проѣхала Иркутскъ прежде, нежели вы сіе получите, въ такомъ разѣ прошу ваше превосходительство принять на себя трудъ отправиться лично для возвращенія ея въ губернскій городъ или приказать остановить въ Верхнеудинскѣ, ибо примѣръ оной можетъ побудить и другихъ къ домогательствамъ о равномѣрномъ пропускѣ ихъ въ Нерчинскъ».

Это-то предписаніе и предстояло привести въ исполненіе иркутскому губернатору, старику-нѣмцу Цейдлеру. За нѣсколько дней до прїѣзда Волконской въ Иркутскъ

ему пришлось примѣнить инструкцію въ первый разъ къ Трубецкой, и онъ могъ убѣдиться, что при всемъ желаніи выполнить волю высшаго начальства, это было трудно и даже невозможно. Съ Волконской дѣло обошлось легче. «Подумайте же, какія условія вы должны будете подписать», — сказалъ онъ и получилъ въ отвѣтъ: «я ихъ подпишу не читая».

Въ объявленіи, подписанномъ Волконской, текстуально приведены три пункта «внушеній», а къ первому было добавлено разъясненіе: «жена, слѣдя за мужемъ..., будетъ признаваема не иначе, какъ женою ссыльно-каторжнаго, и съ тѣмъ вмѣстѣ принимаетъ на себя переносить все, что такое состояніе можетъ имѣть тягостнаго, ибо даже и начальство не въ состояніи будетъ защищать ее отъ ежечасныхъ, могущихъ быть оскорблений отъ людей самаго развращенного, презрительного класса, которые найдутъ въ томъ какъ-будто нѣкоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную съ ними участь, себѣ подобно; оскорблениа сіи могутъ быть даже насильственные. Закоренѣлымъ злодѣямъ не страшны наказанія». Какая предупредительность и заботливость, подумаешь!

Подпись была дана, и Волконская стремительно направляется дальше, черезъ Байкалъ, Верхнеудинскъ, на перекладныхъ, въ Большой Нерчинскій заводъ. Здѣсь она встрѣтилась съ Трубецкой. Мужъ въ это время былъ въ 12 верстахъ, въ Благодатскомъ рудникѣ. Начальникъ рудниковъ Бурнашевъ предложилъ подписать еще одно обязательство. Центральный пунктъ его — воспрещеніе брачныхъ сношеній. Жена могла видѣть мужа не больше двухъ разъ въ недѣлю, не иначе какъ въ арестантской палатѣ, гдѣ указано будетъ, въ назначенное для того время и въ присутствіи дежурнаго офицера. Кромѣ этого пункта, къ Волконской предъявили цѣлый рядъ другихъ требованій. Волконская была поражена. Съ горечью пишетъ она: «Итакъ, государственные преступники должны выносить всю суровость законовъ, какъ простые каторж-

ники, но имъ не разрѣшается семейная жизнь, даруемая величайшимъ преступникамъ и злодѣямъ. Я видала, какъ послѣдніе возвращались къ себѣ по окончаніи работы, занимались собственными дѣлами, выходили изъ тюрьмы; лишь послѣ повторенія преступленія на нихъ надѣвали кандалы и заключали въ тюрьму, тогда какъ наши мужья были заперты въ тюрьмѣ и въ кандалахъ съ первого дня своего прїѣзда сюда». Бурнашевъ, предложилъ Волконской ѿхать въ Благодатскій рудникъ на другой же день..

Свершилось долго жданное: «Бурнашевъ предложилъ мнѣ войти. Въ первую минуту я ничего не видѣла, такъ тамъ было темно; открыли маленькую дверь нальво, и я поднялась въ отдѣленіе мужа. Сергій бросился ко мнѣ; лязгъ его цѣпей меня поразилъ: я не знала что онъ былъ закованъ въ кандалы. Суровость этого наказанія дала мнѣ понятіе о силѣ его страданій. Видъ его кандаловъ такъ взволновалъ и растрогалъ меня, что я бросилась передъ нимъ на колѣни и попѣловала сначала его кандалы, а потомъ и его самого. Бурнашевъ, который за недостаткомъ мѣста не могъ войти, а стоялъ на порогѣ, остолбенѣлъ отъ изумленія при видѣ моего уваженія и восторга къ мужу, которому онъ говорилъ «ты» и съ которымъ обходился, какъ съ каторжникомъ».

### VIII.

«Первое время нашего изгнанія, — пишетъ Волконская,— я думала, что оно, навѣрное, кончится черезъ 5 лѣтъ, затѣмъ я увѣряла себя, что это произойдетъ черезъ 10 лѣтъ, потомъ черезъ 15 лѣтъ, но послѣ 25 лѣтъ я перестала ждать. Я просила у Бога только одного: чтобы Онъ вывелъ изъ Сибири моихъ дѣтей».

Вопросъ о юридическихъ правахъ женъ декабристовъ былъ окончательно разрѣшенъ лишь въ 1833 году. Лишеніе гражданскихъ правъ въ упомянутомъ выше предпи-

саніи разсматривается, какъ мѣра внушенія; въ 1833 году оно было принято, какъ законъ. Ни одна инстанція не рѣшалась карать женъ за сочувствіе къ мужьямъ, не придавала распространительного толкованія предписанію и считала вполнѣ возможнымъ возвращеніе женъ по смерти мужей въ Россію. Императоръ Николай Павловичъ былъ послѣдователенъ.

«Въ засѣданіи 18-го апрѣля,—читаемъ мы въ журналѣ комитета министровъ,—предсѣдатель комитета объявилъ, что государь императоръ, по разсмотрѣніи заключеній комитета министровъ о правахъ женъ государственныхъ преступниковъ, добровольно послѣдовавшихъ за мужьями въ ссылку на каторжную работу,—обращаясь къ условіямъ, на коихъ сіе дозволено было, находить изволилъ, что въ помянутыхъ условіяхъ, именно, предписывалось, что слѣдя за мужьями и продолжая супружескую съ ними связь, онъ содѣляются причастными ихъ судьбы и потеряютъ прежнее званіе, т.-е. будуть признаваемы не иначе, какъ женами ссылочно-каторжныхъ, а дѣти, которыхъ приживутъ въ Сибири, поступятъ въ казенные крестьяне. За симъ, хотя въ тѣхъ же условіяхъ присовокуплено, что невинная жена, слѣдя за мужемъ-преступникомъ въ Сибирь, должна оставаться тамъ до его смерти; но правительство, чрезъ таковую ссылку на общий законъ, собственно до обыкновенныхъ уголовныхъ преступниковъ относящейся (уставъ о ссылкахъ, § 231), постановляя только, что невинные жены государственныхъ преступниковъ прежде смерти мужей не могутъ оставлять Сибири, отнюдь не принимало еще на себя непремѣнной обязанности послѣ смерти ихъ дозволить всѣмъ ихъ вдовамъ возвратъ въ Россію.

«Посему его императорское величество, раздѣляя представляющійся здѣсь общій вопросъ на два, и именно: 1) о правѣ состоянія и 2) о правѣ избранія мѣста жительства, въ разрѣшеніи того и другого полагать изволить:

«1) Что невинные жены государственныхъ преступниковъ, раздѣляющія супружескую съ ними связь, согласно

прежнимъ повелѣніямъ и настоящему заключенію комитета министровъ, до смерти мужей должны быть признаваемы женами ссыльно-каторжныхъ и съ симъ вмѣстѣ подвергаться всѣмъ личнымъ ограниченіямъ, составляющимъ необходимое послѣдствіе сожитія ихъ съ преступниками...

«2) Что послѣ смерти государственныхъ преступниковъ жившимъ съ ними невиннымъ женамъ ихъ, на основаніи существующихъ узаконеній, хотя и должны быть возвращаемы лично всѣ прежнія ихъ права, вмѣстѣ съ предоставленіемъ въ непосредственное уже распоряженіе ихъ принадлежащихъ имъ имѣній и доходовъ съ оныхъ; но дѣйствие всѣхъ этихъ правъ имѣеть ограничиваться одними предѣлами Сибири, дозволеніе же вдовамъ государственныхъ преступниковъ возврата въ Россію, безусловно или съ извѣстными ограниченіями, зависѣть будетъ отъ особаго усмотрѣнія правительства и не иначе каждой изъ нихъ дано быть можетъ, какъ съ высочайшаго разрѣшенія»...

Только по вступленіи на престолъ Александра II 29-го августа 1856 года были дарованы «государственному преступнику Сергею Волконскому и законнымъ дѣтямъ его, рожденнымъ послѣ приговора надъ нимъ, всѣ права потомственного дворянства, только безъ почетнаго титула, прежде имъ носимаго, и безъ правъ на прежнее имущество, съ дозволеніемъ возвратиться съ семействомъ изъ Сибири и жить, гдѣ пожелаетъ въ предѣлахъ имперіи, за исключеніемъ С.-Петербургъ и Москвы, подъ надзоромъ».

Мы не будемъ останавливаться на жизни Волконской на каторгѣ и на поселеніи. Намъ пришлось бы пересказывать ея «Записки», написанныя живо и трогательно. Неукротимая и боевая натура Волконской не находила успокоенія. Жизнь въ Сибири была полна ежедневной ежечасной борьбы за существование мужа и свое. Если декабристы въ концѣ-концовъ добились мало-мальски спокойнаго существованія, то этимъ они обязаны всецѣло своимъ женамъ. Тяжелая жизнь не истребила основной



Княгиня Марія Николаевна Волконская въ старости.



Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая.

черты характера Волконской—жажды жизни. Когда Волконские были на поселеніи и жили въ Иркутскѣ, она сдѣлала изъ своего дома центръ общественной жизни въ го-родѣ; она любила общество и развлечения. Н. А. Бѣлоголовый вспоминаетъ о ней: «говорять, она была хороша собой, но, съ моей точки зрењія, 11-ти-лѣтняго мальчика, она мнѣ не могла казаться иначе, какъ старушкой, такъ какъ ей перешло тогда за 40 лѣтъ; помню ее женщины высокой, стройной, худощавой, съ небольшой относи-тельно головой и красивыми, постоянно прищуривши-мися, глазами. Держала она себя съ большимъ достоин-ствомъ, говорила медленно и вообще на насъ, дѣтей, про-изводила впечатлѣніе гордой, сухой, какъ бы ледяной особы, такъ что мы всегда нѣсколько стѣснялись въ ея присутствії».

М. Н. Волконская умерла 10-го августа 1863 года.

Мы знаемъ, что не одна Волконская послѣдовала за своимъ мужемъ, не одна совершила подвигъ... Трубецкая, Розентль, Давыдова, Нарышкина, Ентальцева, Анненкова, Ивашева, Фонвизина, раздѣляютъ славу Волконской. Различны психологическіе мотивы подвига каждой изъ нихъ. Для однѣхъ, какъ для Анненковой и Ивашевой, путешествіе въ Сибирь было подвигомъ страстной любви, для другихъ (Давыдовъ, Ентальцева и др.) — подвигомъ супружеской любви и долга. Фонвизина рѣшилась на подвигъ ради самого подвига. Для Волконской онъ быть подвигомъ «борьбы», чисто органическимъ и абсолютно чуждыемъ эгоистическихъ соображеній. Она совершила его не для себя, не для мужа, а «по-человѣчеству». Когда ей высказывали удивленіе по поводу того, какъ она могла лишить себя всего, что имѣла, и все покинуть, чтобы слѣдовать за мужемъ, она отвѣчала: «Что же тутъ удиви-тельного? Пять тысячъ женщинъ дѣлаютъ добровольно то же самое».

П. Щеголевъ.

# ЗАПИСКИ КНЯГИНИ М. Н. ВОЛКОНСКОЙ.

Господь рѣшить окованныя...  
Господь возводить низверженныя...  
(Пс. 145 и 144).

Миша мой, ты просишь меня записать твъ рассказы, которыми я когда-то во дни вашего дѣтства развлекала тебя и Нелли, словомъ—написать свои воспоминанія<sup>1</sup>. Но прежде чѣмъ начать писать, надо умѣть писать, а у меня нѣтъ этого таланта, и кромѣ того, наша жизнь въ Сибири можетъ интересовать только тебя, какъ дитя изгнанія; и я буду писать для тебя, для твоей сестры и для Сережи, при непремѣнномъ условіи, чтобы эти записки не сообщались никому, за исключениемъ твоихъ дѣтей, когда они у тебя будутъ; прижавшись къ тебѣ, съ широко раскрытыми глазами, будутъ они слушать рассказы о нашихъ лишеніяхъ и страданіяхъ, съ которыми, однако, мы настолько свыкались, что сумѣли быть веселы и даже счастливы въ изгнаніи.

Я сокращу теперь то, что вамъ такъ нравилось, когда вы были дѣтьми; рассказы о томъ счастьѣ, которымъ я наслаждалась подъ сѣнью родительского кровя, о моихъ путешествіяхъ, о тѣхъ радостяхъ и удовольствіяхъ, которыхъ выпали на мою долю на этомъ свѣтѣ. Скажу только, что въ 1825 году я вышла замужъ за князя Сергѣя Волконскаго, вашего отца,—достойнѣйшаго и благороднѣйшаго изъ людей; мои родители думали, что обеспечили мнѣ блестящую, по мнѣнію свѣта, будущность. Мнѣ было грустно разстаться съ ними: словно сквозь подвѣнечный вуаль мнѣ смутно рисовалась судьба, ожидавшая насть. Въ скорости я заболѣла, и меня послали въ Одессу на морскія купанья съ матерью, сестрой и моей англичанкой.

Сергей не могъ нась сопровождать, такъ какъ по дѣламъ службы долженъ быть оставаться при своей дивизіи. Я почти совсѣмъ не знала его до свадьбы. Въ Одессѣ я проѣздила все лѣто, и такимъ образомъ, въ первый годъ нашей супружеской жизни я провела съ мужемъ только три мѣсяца; я и не подозрѣвала тогда о существованіи Тайного Общества, членомъ котораго онъ состоялъ. Будучи старше меня лѣтъ на двадцать, онъ не могъ поэтому довѣряться мнѣ въ такомъ важномъ дѣлѣ<sup>2</sup>.

Въ концѣ осени онъ прїѣхалъ за мной, отвезть меня въ Умань, гдѣ стояла его дивизія, а самъ уѣхалъ въ Тульчинъ,—главную квартиру второй арміи. Черезъ недѣлю онъ вернулся среди ночи и тотчасъ же разбудилъ меня: «Вставай скорѣе!» Я вскочила, дрожа отъ страха. Я была въ послѣднемъ періодѣ беременности, и это внезапное возвращеніе среди ночи напугало меня. Онъ растопилъ каминъ и стала жечь какія-то бумаги. Какъ умѣла, я ему помогала, спрашивая, что все это значить? «Пестель арестованъ!»—«Почему?»—Отвѣта нѣтъ. Вся эта таинственность меня беспокоила. Я видѣла, что онъ былъ печаленъ, чѣмъ-то сильно озабоченъ. Наконецъ, онъ мнѣ сказалъ, что обѣщаѣтъ моему отцу отвезти меня къ нему на время родовъ,—и вотъ мы отправились въ имѣніе отца, гдѣ онъ сдалъ меня на попеченіе моей матери, а самъ тотчасъ же уѣхалъ; немедленно по возвращеніи онъ былъ арестованъ и отправленъ въ Петербургъ. Такъ прошелъ первый годъ нашей супружеской жизни,—онъ еще не кончился, а Сергей уже сидѣлъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ Петропавловской крѣпости.

Роды у меня были очень тяжелыя, безъ повивальной бабки (она прїѣхала только на другой день). Отецъ настаивалъ, чтобы я сидѣла въ креслѣ, а мать, какъ болѣе опытная въ этихъ дѣлахъ, приказывала мнѣ, во избѣженіе простуды, лечь въ постель,—и вотъ они спорятъ, а я мучусь. Наконецъ, воля мужчины, какъ всегда, одержала верхъ. Меня посадили въ большое кресло, гдѣ я перенесла жестокія муки безъ всякой медицинской помощи. Нашъ

докторъ находился у больного въ 15-ти verstахъ отъ насть; пришла какая-то крестьянка, выдававшая себя за бабку, но она не рѣшилась даже подойти ко мнѣ, а стала на колѣни въ углу комнаты и молилась за меня. Наконецъ, къ утру прїѣхалъ докторъ, и я родила своего маленькаго Николая, съ которымъ впослѣдствіи должна была разстаться навсегда. У меня хватило силъ дойти босикомъ до постели, которая показалась мнѣ холодной, какъ ледъ; черезъ минуту меня схватила жестокая лихорадка, которая перешла затѣмъ въ воспаленіе мозга, приковавшее меня къ постели на два мѣсяца<sup>3</sup>. Когда я приходила въ себя, я спрашивала о мужѣ, и мнѣ отвѣчали, что онъ въ Молдавіи, а между тѣмъ онъ въ это время былъ уже въ тюрьмѣ и выносилъ всѣ нравственныя пытки допроса. Сначала его, какъ и всѣхъ, привели къ императору Николаю, который накинулъ на него съ угрозами и бранью за то, что мужъ не хотѣлъ назвать никого изъ своихъ товарищѣй. Позже, когда онъ все-таки упорствовалъ въ своемъ молчаніи передъ слѣдователями, Чернышевъ, военный министръ, сказалъ ему: «Стыдитесь, князь, прaporщики больше васъ показываютъ». Впрочемъ, всѣ товарищи мужа были уже извѣсты: предатели Шервудъ, Майборода и... выдали списокъ именъ членовъ Тайного Общества, слѣдствіемъ чего и явились аресты. Я не рѣшаюсь описывать события этого времени: они еще слишкомъ свѣжи въ памяти и слишкомъ огромно для меня ихъ значеніе; это сдѣлаютъ другіе, а приговоръ надъ этимъ порывомъ чистаго и безкорыстнаго патріотизма произнесеть потомство. До сихъ поръ исторія Россіи являла собой лишь дворцовые заговоры, причемъ только участники ихъ находили въ томъ личную для себя выгоду.

Въ одинъ прекрасный день, собравшись съ мыслями, я сказала сама себѣ: «Отсутствіе моего мужа неестественно, вѣдь я совсѣмъ не получаю отъ него писемъ». Я, наконецъ, настояла, чтобы мнѣ сказали правду, и тутъ я узнала, что Сергей арестованъ, точно также какъ и

В. Давыдовъ,<sup>5</sup> Лихаревъ<sup>6</sup> и Поджю<sup>7</sup>. Я объявила матери, что уѣзжаю въ Петербургъ, куда уже уѣхалъ мой отецъ. На слѣдующее утро все было готово къ отѣзду, но въ тотъ моментъ, когда нужно было вставать, я вдругъ почувствовала въ ногѣ сильную боль. Я тотчасъ же велѣла привести ко мнѣ ту добрую женщину, которая тогда такъ горячо молилась за меня Богу; она сказала, что это рожа, завернула мою ногу въ красное сукно съ мѣломъ,—и я отправилась въ путь съ своей доброй сестрой и ребенкомъ, котораго я дорогой оставила у тетки моего отца, графини Браницкой. Она жила богатой и вліятельной помѣщицей и, кромѣ того, тамъ были хороши врачи.

Былъ апрѣль мѣсяцъ; распугтица — полная. Я ѿхала днемъ и ночью и прїѣхала, наконецъ, къ своей свекрови. Это была придворная дама въполномъ смыслѣ слова. Мнѣ неоткуда было ждать совѣта: братъ Александръ, предвидѣвшій исходъ дѣла, и отецъ, приходившій отъ него въ ужасъ, буквально провели меня<sup>8</sup>. Александръ продѣлалъ это съ такой ловкостью, что я поняла все гораздо позже, когда уже была въ Сибири. Здѣсь мои подруги рассказывали мнѣ, что всякий разъ, когда онъ прїѣзжалъ навѣстить меня, имъ говорили, что я не принимаю. Братъ боялся ихъ вліянія на меня, но тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ его предосторожности, я и Каташа Трубецкая были первыми, которыхъ прїѣхали въ Нерчинскіе рудники.

Я была еще очень больна и необыкновенно слаба. Я добилась разрѣшенія повидаться съ мужемъ въ крѣпости. Императоръ, который пользовался каждымъ случаемъ, чтобы проявить свое великолѣпіе (въ дѣлахъ незначительныхъ), узнавъ, что я очень слаба, приказалъ, чтобы меня въ крѣпость сопровождалъ врачъ,—бо я съ дѣлами меня всяка го сильнаго волненія. Графъ Алексѣй Орловъ самъ повезъ меня въ крѣпость. Приблизившись къ этой ужасной тюрьмѣ, я подняла глаза, и пока открывали ворота, увидѣла помѣщеніе надъ вѣздомъ съ большими, раскрытыми окнами, и Михаила Орлова,

который улыбаясь, въ халатѣ и съ трубкой въ рукахъ, смотрѣлъ на прїѣхавшихъ.

Мы остановились у коменданта; тотчасъ же подъ конвоемъ привели моего мужа. Это свиданіе при постороннихъ было чрезвычайно тяжело; мы ободряли другъ друга, но дѣлали это безъ всякаго убѣжденія. Я не рѣшилась его разспрашивать: всѣ взоры были обращены на насъ; мы обмѣнялись платками. Вернувшись къ себѣ, я послѣшила посмотретьъ, что тамъ было, но нашла лишь нѣсколько словъ утѣшенія, которыя были написаны на углу платка и которыя я съ трудомъ могла разобрать.

Моя свекровь разспрашивала меня о сынѣ, и между прочимъ, сказала, что она не можетъ рѣшиться на вѣстить его, такъ какъ это свиданіе ее убило бы, и на другой же день уѣхала съ Императрицей-Матерью въ Москву, гдѣ уже начались приготовленія къ коронаціи. Моя золовка Софья Волконская должна была скоро прибыть: она сопровождала въ Петербургъ тѣло покойной императрицы Елизаветы Алексѣевны. Я горѣла нетерпѣніемъ познакомиться съ этой сестрой, которую мужъ мой обожалъ; я возлагала большія надежды на ея прїездъ. Но мой братъ смотрѣлъ на это иначе; онъ сталъ внушать мнѣ тревогу относительно моего ребенка, увѣряя меня, что слѣдствіе продлится долго (что, впрочемъ и было вѣрно), что нужно было бы мнѣ самой уѣхать, насколько хорошо уходить за моимъ дорогимъ малюткой — что навѣрно въ дорогѣ я встрѣчусь съ княгиней. Ничего не подозрѣвая, я рѣшила ѿхать, надѣясь привезти сюда моего ребенка. Я отправилась на Москву съ цѣлью увидѣться съ моей сестрой Орловой. Моя свекровь, въ качествѣ статсъ-дамы, была уже тамъ. Она мнѣ сказала, что Ея Величество желаетъ меня видѣть и что она принимаетъ во мнѣ большое участіе. Я думала, что Императрица будетъ говорить со мной о моемъ мужѣ, такъ какъ въ подобныхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ я понимала участіе къ себѣ лишь въ томъ случаѣ, если оно имѣло отношеніе къ моему мужу. Ничего

подобного: со мной разговаривали о моемъ здоровъѣ, о здоровъѣ отца, о погодѣ...

Я немедленно отправилась въ дорогу. Братъ устроилъ такъ, что я разѣхалась съ золовкой, которая была въ курсѣ всего дѣла и могла бы сообщить мнѣ о направленіи, принятомъ дѣломъ. Я нашла своего ребенка довольно блѣднымъ и слабымъ; ему привили оспу, онъ заболѣлъ. Я не получала никакихъ извѣстій; мнѣ передавали только самыя незначительныя письма, остальныя—уничтожались. Я съ нетерпѣніемъ ждала момента отѣзда; наконецъ, мой братъ приносить мнѣ газеты и объявляется мнѣ, что мой мужъ приговоренъ. Онъ былъ разжалованъ вмѣстѣ со своими товарищами на гласисѣ крѣпости. Вотъ какъ все это произошло.

13-го іюля на зарѣ ихъ собрали всѣхъ на гласисѣ и размѣстили по категоріямъ противъ пяти висѣлицъ. Сергій, какъ только пришелъ, снялъ съ себя мундиръ и бросилъ его въ костеръ, не желая, чтобы его сорвали съ него. Для уничтоженія мундировъ и орденовъ приговоренныхъ разложили и зажгли нѣсколько костровъ, затѣмъ имъ приказали всѣмъ стать на колѣни и надѣ головой каждого жандармъ ломать саблю въ знакъ разжалованія; дѣлалось это очень неловко: нѣкоторымъ при этомъ поранили головы. Когда ихъ привезли обратно въ тюрьму, они получили не свою обычную пищу, а каторжный паекъ, точно также перемѣнили имъ и одежду: имъ дали куртку и штаны изъ грубаго сѣраго сукна.

Всльдѣ за этой сценой послѣдовала другая, гораздо болѣе ужасная. Привели пятерыхъ приговоренныхъ къ смертной казни. Пестель, Сергій Муравьевъ, Рылѣевъ, Бестужевъ-Рюминъ (Михаиль) и Каховскій были повѣшены, но съ такой возмутительной неловкостью, что трое изъ нихъ сорвались съ веревки и ихъ снова потащили на эшафотъ. Сергій Муравьевъ не захотѣлъ, чтобы его поддерживали, Рылѣевъ, снова получивъ возможность говорить, сказалъ: «Я счастливъ умереть дважды за отечество». Ихъ тѣла были положены

въ два большіе ящики, наполненные негашеної известью, и погребены на островѣ Голодаѣ. Часовой не позволялъ никому приближаться къ нимъ. Я не могу спокойно говорить обѣ этой сценѣ, мнѣ болѣно ее описывать, она меня разстраиваетъ; у меня нѣть силъ заставить себя описать ее. Генераль Чернышевъ (впослѣдствіи графъ и князь) объѣзжалъ верхомъ вокругъ пяти висѣлицъ, и усмѣхаясь, смотрѣлъ въ лорнетъ на пять жертвъ<sup>9</sup>.

Мой мужъ былъ лишенъ титуловъ, состоянія, правъ и приговоренъ къ 20-ти годамъ каторжныхъ работъ и по жизненной ссылкѣ. Онъ былъ отправленъ въ Сибирь 26 іюля вмѣстѣ съ князьями Трубецкимъ и Оболенскимъ, Давыдовымъ, Артамономъ Муравьевымъ, братьями Борисовыми и Якубовичемъ<sup>10</sup>. Когда братъ сообщилъ мнѣ обѣ этомъ, я объявила, что послѣдуя за мужемъ; братъ долженъ бытьѣхать въ Одессу и передѣ отѣзdomъ скажаль мнѣ, чтобы я до его возвращенія не трогалась съ мѣста, но на другой же день послѣ его отѣзда я взяла паспортъ и отправилась въ Петербургъ. Въ семьѣ мужа на меня сердились за то, что я не отвѣчала на ихъ письма. Но вѣдь я не могла имъ сказать, что я ихъ не получала, такъ какъ ихъ перехватывалъ мой братъ. Мнѣ говорили колкости, но ни слова о деньгахъ. Тѣмъ болѣе не могла я имъ сказать, что я переносила отъ моего отца, который не хотѣлъ меня отпустить. Я заложила свои брилліанты, заплатила нѣкоторые долги мужа и написала Государю письмо съ просьбой разрѣшить мнѣ слѣдовать за мужемъ. Я указывала на то участіе, которое Государь принималъ въ женахъ ссыльныхъ и просила его довершить свои милости разрѣшеніемъ мнѣ уѣхать. Вотъ его отвѣтъ:

«Я получилъ, Княгиня, ваше письмо отъ 15 сего мѣсяца, и съ удовольствіемъ нашелъ въ немъ выраженіе вашихъ чувствъ ко мнѣ за то участіе, которое я въ васъ принимаю; но во имя этого участія къ вамъ я считаю себя обязаннымъ еще разъ повторить здѣсь предостереженія, которыя я вамъ уже высказывалъ, отно-

сительно того, что ожидаетъ васъ, какъ только вы проѣдете за Иркутскъ. Впрочемъ, я вполнѣ представляю вашему личному усмотрѣнію, сударыня, избрать тотъ образъ дѣйствія, который вы найдёте наиболѣе подходящимъ въ вашемъ положеніи.

Преданный вамъ  
(подпись) Николай».

1826,  
21 декабря.

Теперь я должна разсказать вамъ сцену, которую я буду помнить до послѣдняго вздоха. Мой отецъ былъ все время мраченъ и неприступенъ. Однако, мнѣ нужно же было ему сказать, что мы должны разстаться и что я назначаю его опекуномъ моего бѣдного малютки, кото-  
раго мнѣ не позволили взять съ собой. Я показала ему письмо Его Величества; тогда мой бѣдный отецъ, не вла-  
дѣя болѣе собой, поднялъ кулаки надъ моей головой и воскликнулъ: «Я прокляну тебя, если ты не вернешься черезъ годъ». Я ничего не отвѣтила, бросилась на ку-  
шетку и спрятала лицо въ подушку.

Мой отецъ, этотъ герой 1812 года, обладавшій твердымъ и возвышеннымъ характеромъ, этотъ патріотъ, который, видя, что его войска при Дашковѣ дрогнули, схватилъ двухъ своихъ подростковъ-сыновей и бросился съ ними въ огонь непріятеля,—былъ нѣжно-любящимъ семьяни-  
номъ; онъ не могъ перенести мысли о моемъ изгнаніи и мой отѣздъ казался ему чѣмъ-то чудовищнымъ.

Мой шуринъ, князь Петръ Волконскій, министръ Двора, заѣхалъ за мнѣ, чтобы увезти меня къ себѣ обѣдать и дорогой сказалъ мнѣ: «Увѣрены ли вы въ томъ, что воз-  
вратитесь?»—«Я совсѣмъ этого и не желаю, а если и вернусь, то не иначе какъ съ Сергѣемъ, только ради Бога, не говорите этого моему отцу». Позже я вспомнила эти слова и поняла смыслъ отеческихъ предостереженій въ письмѣ Его Величества. Въ ту же ночь я выѣхала; съ отцомъ мы попрощались молча: онъ благословилъ меня и отвернулся, не будучи въ состояніи произнести ни слова.

Глядя на него, я говорила себѣ: «Все кончено, я его уже больше не увижу, я умерла для семьи». Я заѣхала обнять свекровь, которая приказала выдать мнѣ ровно столько денегъ, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска. Я приказала купить для себя кибитку и въ одну минуту мои вещи были уже уложены: я взяла не-  
много бѣлья, три платья и ватошный капотъ, который былъ на мнѣ. Остальные деньги я берегла для Сибири и зашила ихъ въ платье. Передъ отѣздомъ я стала на колѣни передъ колыбелью моего сына и долго молилась. Эта вечеръ онъ провелъ около меня, играя печатью на письмѣ, которымъ мнѣ разрѣшалось уѣхать и покинуть его навсегда. Ему очень нравилась большая печать изъ краснаго воска на письмѣ. Я поручила своего бѣднаго ребенка заботамъ свекрови и невѣстокъ и, наконецъ, оторвавшись отъ него, вѣшла.

Въ Москвѣ я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невѣстки, которая приняла меня съ такой нѣжностью и добротой, которыхъ я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманіемъ, любовью и состраданіемъ. Зная мою страсть къ музыкѣ, она пригла-  
сила всѣхъ итальянскихъ пѣвцовъ, которые были тогда въ Москвѣ и нѣсколько талантливыхъ дѣвицъ<sup>11</sup>. Прекрас-  
ное итальянское пѣніе привело меня въ восхищеніе, а мысль, что я слышу его въ послѣдній разъ, дѣлала его для меня еще прекраснѣе. Дорогой я простудилась и совер-  
шенно потеряла голосъ, а они пѣли какъ разъ тѣ вещи,  
которые я изучила лучше всего, и я мутилась отъ невоз-  
можности принять участіе въ пѣніи. Я говорила имъ:  
«Еще, еще, подумайте только, вѣдь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкинъ, нашъ великий поэтъ, тоже былъ здѣсь; я знала его давно. Онъ былъ принять моимъ отцомъ въ то время, когда его преслѣдовалъ Императоръ Александръ I за стихотворенія, считавшіяся револю-  
ціонными.

Отецъ когда-то принялъ участіе въ этомъ бѣдномъ молодомъ человѣкѣ съ такимъ огромнымъ талантомъ и

взялъ его съ собой на Кавказскія воды, такъ какъ здравье его было сильно подорвано. Пушкинъ никогда этого не забывалъ; связанный дружбой съ моими братьями, онъ питалъ ко всѣмъ намъ чувство глубокой преданности.

Какъ поэтъ, онъ считалъ своимъ долгомъ быть влюбленнымъ во всѣхъ хорошенъкихъ женщинъ и молодыхъ девушекъ, съ которыми онъ встречался. Мнѣ вспоминается, какъ во время этого путешествія, недалеко отъ Таганрога, я ходила въ каретѣ съ Софьей, нашей англичанкой, русской нянечкой и компаньонкой. Завидѣвъ море, мы приказали остановиться, вышли изъ кареты и всей гурьбой бросились любоваться моремъ. Оно было покрыто волнами и, не подозрѣвая, что поэтъ шелъ за нами, я стала забавляться тѣмъ, что бѣгала за волной, а когда она настигала меня, я уѣгала отъ нея; кончилось тѣмъ, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего объ этомъ не сказала и вернулась въ карету. Пушкинъ нашелъ, что эта картина была очень грациозна и, поэтизируя дѣтскую шалость, написалъ прелестные стихи; мнѣ было тогда лишь 15 лѣтъ.

«Какъ я завидовалъ волнамъ,  
Бѣгущимъ бурной чередою  
Съ любовью лѣчъ къ ея ногамъ!  
Какъ я желалъ тогда съ волнами  
Коснуться милыхъ ногъ устами!»

Позже, въ поэмѣ: «Бахчисарайскій фонтанъ», онъ сказалъ:

«...ея очи  
Яснѣе дня,  
Темнѣе ночи».

Въ сущности, онъ обожалъ только свою музу и поэтизировалъ все, что видѣлъ. Но во время добровольного изгнанія нась, женѣ, сосланныхъ въ Сибирь, онъ былъ полонъ самаго искренняго восхищенія: онъ хотѣлъ передать мнѣ свое «Посланіе къ узникамъ» для врученія имъ,

но я уѣхала въ ту же ночь, и онъ передалъ его Александринѣ Муравьевой. Вотъ оно:

«Во глубинѣ сибирскихъ рудъ  
Храните гордо терпѣніе.  
Не пропадеть вашъ скорбный трудъ  
И думъ высокое стремленіе.

\* \*

Несчастью вѣрная сестра—  
Надежда въ мрачномъ подземельѣ  
Разбудить бодрость и веселье,  
Придѣть желанная пора.

\* \*

Любовь и дружество до васъ  
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,  
Какъ въ ваши каторжныя норы  
Доходитъ мой свободный гласъ.

\* \*

Оковы тяжкія падутъ,  
Темницы рухнутъ, и свобода  
Васъ примѣтъ радостно у входа,  
И братья мечъ вамъ отдадутъ».

Отвѣтъ князя Одоевскаго, государственного преступника, приговореннаго къ каторжнымъ работамъ:

«Струнъ вѣщихъ пламенные звуки  
До слуха нашего дошли,  
Къ мечамъ рванулись наши руки,  
Но лишь оковы обрѣли.

\* \*

Но будь спокоенъ, Бардъ,—цѣпями,  
Своей судьбой гордимся мы,  
И за затворами тюрьмы  
Обѣть святой пребудеть съ нами.

\* \*

Нашъ скорбный трудъ не пропадеть;  
Изъ искры возгорится пламя,  
И просвѣщенный нашъ народъ  
Сберется подъ святое знамя».

Пушкинъ говорилъ мнѣ: «Я хочу написать сочиненіе о Пугачевѣ. Я отправлюсь на мѣста, перевалю черезъ

Уралъ, проѣду дальше и приду просить у васъ убѣжища въ Нерчинскихъ рудникахъ». Онъ написалъ свою прекрасную книгу, которая привела всѣхъ въ восхищеніе, но въ нашъ край такъ и не попалъ.

Моя сестра Орлова пріѣхала въ Москву проститься со мной. Ея мужъ, одинъ изъ главныхъ дѣятелей Тайного Общества, въ это время спокойно жилъ въ деревнѣ: онъ былъ спасенъ своимъ братомъ графомъ Орловымъ, отчасти при помощи отвѣтовъ, которые онъ заставлялъ его давать на вопросы, присылаемые въ тюрьму, а отчасти благодаря благосклонности, которую онъ пользовался у Его Величества. Я забросала сестру вопросами о дѣлѣ, но она отвѣчала уклончиво; больше всего меня мучило то, что я прочитала въ напечатанномъ приговорѣ, будто мой мужъ сдѣлалъ фальшивую печать, чтобы вскрыть Государственная бумаги.

Со слезами на глазахъ я спросила у сестры: «Правда ли, что Сергѣй сдѣлалъ фальшивую печать?» Она мнѣ отвѣтила, что это неправда и старалась меня успокоить, но ничего при этомъ не объяснила мнѣ; она, вѣроятно, боялась, какъ бы я обѣ этомъ не стала рассказывать до своего отѣзда, но все-таки призналась мнѣ, что для спасенія ея мужа Сергѣй вскрылъ не государственную бумагу, а письмо, будучи на то почти уполномоченъ Кисилевымъ, которому оно было адресовано.

Дѣло было такъ.

Въ 1822 году произошли беспорядки въ 16-ой дивизіи, которою командовалъ Михаиль Орловъ. Окружающіе его были неосторожны въ разговорахъ съ учениками школъ, устроенныхъ по методу Ланкастера и введенныхъ въ Россіи Михаиломъ. Всѣ эти неосторожны и несвоевременные слова передавалисьunter-офицерамъ и солдатамъ,—результатомъ чего явилось неповиновеніе начальству; обѣ этомъ было доложено Императору Александру I, который приказалъ произвести слѣдствіе. Генералъ Кисилевъ, начальникъ штаба 2-ой арміи, былъ въ большой дружбѣ съ Михаиломъ и Сергѣемъ; уѣзжая за-границу



Александра Григорьевна Мурав'ева.  
(Съ рисунка Соколова).



Баронесса Анна Васильевна Розенть.

вследствие болѣзни жены, онъ сказаъ передъ отъездомъ моему мужу: «Очень жалѣю, что не могу оставаться еще нѣсколько дней. Я жду письма относительно дѣла Михаила, я сообщилъ бы его вамъ, чтобы вы предупредили его о ходѣ дѣла». Это письмо на другой же день было получено моимъ мужемъ, который его прочиталъ, запечаталъ первой попавшейся печатью и, такимъ образомъ, далъ возможность Михаилу приготовить свои отвѣты. Подобный поступокъ не только не преступенъ, но даже не является злоупотребленіемъ довѣрія, такъ какъ Кисилевъ выразилъ желаніе, чтобы содержаніе письма было сообщено Орлову.

Но возвратимся къ моему путешествію. Сестра, увида, что я уѣзжаю безъ шубы, испугалась и, снявъ съ себя мѣховое пальто, надѣла его на меня, кромѣ того, она дала мнѣ книги, шерсти и узоровъ. Я должна была провести два дня въ Москвѣ, такъ какъ нужно было повидать родственниковъ ссыльныхъ; они принесли мнѣ для нихъ письма и столько посылокъ, что я принуждена была взять вторую кибитку, чтобы все захватить съ собой. Я покидала Москву со стѣсненнымъ сердцемъ, но въ душѣ у меня не было отчаянія. Со мной былъ только одинъ слуга и горничная, которая «все по паспорту ходила» и оказалась впослѣдствіи весьма неблагонадежной.

Я ѿхала день и ночь, нигдѣ не останавливалась и не обѣдая, а просто пила чай тамъ, где былъ готовъ самоваръ; мнѣ подавали въ кибитку кусокъ хлѣба, стаканъ молока, или чего-либо другого—вотъ и все. Однажды въ лѣсу я перегнала партію каторжниковъ: они шли по поясъ въ снѣгу, такъ какъ зимняя дорога еще не была проложена; лица ихъ были покрыты грязью и они имѣли жалкій и отталкивающій видъ. Я говорила себѣ: «Неужели Сергѣй такой же изнуренный, такъ обросъ бородой и съ такими всклокоченными волосами?»

Я прїехала въ Казань вечеромъ; былъ канунъ Нового Года; меня заставили выйти изъ кибитки, не знаю почему, въ гостинницѣ; домъ Дворянского собранія былъ на

тому же дворъ, залы его были ярко освѣщены, и я видѣла, какъ туда входили маски на баль. Я говорила себѣ: «Какой контрастъ! Здѣсь собираются танцевать, веселиться, а я—я єду въ бездну. Все кончено для меня: и пѣсни, и танцы».

Подобное ребячество было вполнѣ простительно въ моемъ возрастѣ: мнѣ только что исполнилось 21 годъ. Теченіе моихъ мыслей было превано появленіемъ чиновника военнаго губернатора, который предупреждалъ меня, что я сдѣлаю лучше, если вернусь обратно, тѣмъ болѣе, что княгиня Трубецкая, которая проѣхала до меня, должна была остановиться въ Иркутскѣ (ее не пустили єхать дальше), а въ вещахъ ея произвели обыскъ. Я отвѣтила, что приняла всѣ предосторожности и что меня пропустятъ, такъ какъ на то у меня имѣется разрѣшеніе Его Величества Государя Императора. При этомъ я вспомнила, какъ сестра Орлова, желая удержать меня отъ поїздки, говорила: «Что ты дѣлаешь, твой мужъ, можетъ быть, началь пить, опустился!»—«Тѣмъ болѣе я должна єхать», отвѣчала я ей.

Я продолжала путь; погода была ужасная; хозяинъ гостиницы сказалъ мнѣ, что лучше было бы обождать, потому что будетъ метель.

Я подумала, что тѣ-ли еще мнѣ предстоитъ въ Сибири и, приказавъ опустить рогожу съ верха кибитки, отправилась дальше. Но я не знала степныхъ метелей: снѣгъ навалился на полости, такъ что между ямщикомъ и нами образовалась гора изъ снѣга. Я заставила свои часы прозвонить: была полночь—мой Новый Годъ, мои вѣстрѣ ча Нового Года! Я повернулась къ моей горничной, чтобы пожелать ей счастливаго года, не имѣя больше никого, кого бы можно было поздравить, но она была въ такомъ дурномъ расположении духа, ея выраженіе лица было такое непріятное, что я обратилась къ ямщику: «Съ Новымъ годомъ тебя поздравляю!»—и я мысленно перенеслась къ своимъ родителямъ, къ своей молодости, дѣству. Какъ праздновался всегда у насъ

этотъ день, сколько радостей, сколько удовольствій! А мой бѣдный Сергій, что съ нимъ? Печальная дѣйствительность представилась мнѣ во всей своей не-приглядности; я думала теперь только о мужѣ. Лошади стали, ямщикъ сказалъ, что мы сбились съ дороги и что надо выйти и искать убѣжища. Къ счастью, недалеко оказалось зимовье дровосѣка и мы вошли туда; я велѣла развести огонь, заварила чай для людей и переждала до утра, чтобы продолжать путь. Такъ єхала я въ продолженіе 15 дней, то пѣла, то читала стихи, не встрѣтивъ въ пути ничего интереснаго; я совсѣмъ не видѣла мѣстъ, черезъ которыхъ проѣзжала, быль сильный холодъ и кибитка была закрыта. Однажды слуга мнѣ сказалъ, что мы подъѣзжаемъ къ станціи; я приказала открыть кибитку и увидѣла большиe костры, разложенные посреди деревни. Эти костры поддерживались, чтобы дать возможность толпѣ обогрѣться; женщины, дѣти, солдаты, крестьяне—всѣ толпились вокругъ костровъ. Я спросила: «Что это такое?»—«Это Серебрянка изъ Нерчинска». Я пришла въ восторгъ,—сейчасъ узнаю что-нибудь о мужѣ. Иду на почтовую станцію и для вида приказываю подать себѣ чаю. Входитъ офицеръ, сопровождающій караванъ; онъ не снимаетъ фуражки и продолжаетъ курить, выпуская клубы дыма отвратительного табаку; засаленная сумка съ табакомъ висѣла у него на пуговицѣ сюртука. Несмотря на его грубую вѣшность, я его спрашиваю, гдѣ находятся государственные преступники. Онъ смѣрилъ меня взглядомъ и, повернувшись ко мнѣ спиной, сказалъ: «Я ихъ не знаю и знать не хочу». (Это былъ нѣкто Фитингофъ, сосланный впослѣдствіи за безнравственность въ Соловецкій монастырь). Тогда одинъ изъ его солдатъ, устыдившись за своего начальника, подходитъ ко мнѣ и тихо говоритъ: «Я ихъ видѣлъ, они здоровы, они въ Нерчинскомъ округѣ, въ Благодатскомъ рудникѣ». Этотъ славный парень проявилъ болѣе человѣчности и деликатности, чѣмъ его начальникъ. Больше со мной не было никакихъ приключений, за исключеніемъ развѣ того, что меня

понесли лошади съ самой высокой горы Алтая. Я выпрыгнула прямо въ снѣгъ, не причинивъ себѣ ни малѣйшаго вреда.

### ИРКУТСКЪ.

Прибывъ въ Иркутскъ, столицу Восточной Сибири, я нашла, что городъ красивъ, мѣстоположеніе его превосходно, рѣка великолѣпна, хотя и покрыта льдомъ. Прежде всего я отправилась въ первую, попавшуюся мнѣ на пути, церковь, чтобы отслужить благодарственный молебенъ. Священникъ, который служилъ молебенъ, оказался впослѣдствіи настоятелемъ въ нашей тюрьмѣ<sup>12</sup>. Вернувшись къ себѣ, я была вънѣ себя отъ удивленія и восторга: я увидѣла клавикорды, которые велѣла привязать сзади моей кибитки по секрету отъ меня милая Зинаида Волконская. Этотъ неожиданный подарокъ былъ для меня очень дорогъ, потому что въ это время въ Иркутскѣ только у одного губернатора были клавикорды. Я начала играть, пѣть—и не чувствовала уже себя такой одинокой. Квартира, которую я для себя нашла, была какъ разъ та, изъ которой только въ этотъ день выѣхала Каташа, отправляясь въ Забайкалье. Гражданскій губернаторъ Цейдлеръ, старикъ-нѣмецъ, тотчасъ же явился ко мнѣ—читать мнѣ наставленія и уговорить вернуться въ Россію. Это ему было приказано. Его Величество косо смотрѣлъ на отѣзѣздъ молодыхъ женъ за своими мужьями: этимъ возбуждалось черезчуръ много участія къ бѣднымъ ссылымъ. Такъ какъ имъ было запрещено писать родственникамъ, то поэтому надѣялись, что этихъ несчастныхъ скоро забудутъ въ Россіи, между тѣмъ какъ намъ, женамъ, невозможно было запретить писать и тѣмъ самымъ поддерживать родственныя отношенія.

Губернаторъ, видя, что я непреклонна въ своемъ решеніи, сказалъ мнѣ: «Подумайте только объ условіяхъ, которыя вы должны будете подписать». — «Я подпишу

ихъ, не читая».—«Я долженъ приказать обыскать всѣ ваши вещи, вамъ запрещается имѣть какую-бы то ни было цѣнность».

Затѣмъ онъ ушелъ и прислалъ ко мнѣ цѣлую кучу чиновниковъ. Имъ пришлось переписать очень мало: немногого бѣлля, три платья, фамильные портреты и дорожную алтечку; потомъ они открыли ящики съ посылками. Я сказала, что все это посыпается моему мужу; затѣмъ они предъявили мнѣ для подписи знаменитую бумагу и сказали, чтобы копію съ нея я сохранила, дабылучше ее запомнить. Когда они вышли, мой слуга, прочитавшій бумагу, сказалъ мнѣ со слезами на глазахъ: «Княгиня, что вы сдѣлали? прочтите, что отъ васъ требуютъ!»—«Мнѣ все равно, уложимся скорѣе и пойдемъ!»

Вотъ содержаніе бумаги, которую я подписала:

### § 1.

«Жена, слѣдя за своимъ мужемъ и продолжая сънимъ супружескую связь, сдѣлается естественно причастной его судьбѣ и потеряетъ прежнее званіе, т.е. будетъ уже признаваема не иначе, какъ женою ссыльно-каторжного, и съ тѣмъ вмѣстѣ принимаетъ на себя переносить все, что такое состояніе можетъ имѣть тягостнаго, ибо даже и начальство не въ состояніи будетъ защищать ее отъ ежечасныхъ могущихъ быть оскорблений отъ людей самаго развратнаго, презрительного класса, которые найдутъ въ томъ какъ будто нѣкоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную съ ними участіе, себѣ подобною; оскорблениа сіи могутъ быть даже насильственные. Закоренѣлымъ злодѣямъ не страшны наказанія.

### § 2.

Дѣти, которыхъ приживутся въ Сибири, поступятъ въ казенные заводскіе крестьяне.

§ 3.

Ни денежныхъ суммъ, ни вещей многоцѣнныхъ съ собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной ихъ безопасности по причинѣ, что сіи мѣста населены людьми, готовыми на всякаго рода преступленія.

§ 4.

Отъѣздомъ въ Нерчинскій край уничтожается право на крѣпостныхъ людей, съ ними прибывшихъ».

Приведя въ порядокъ вещи, которыя были разрыты чиновниками и приказавъ снова все уложить, я вспомнила, что мнѣ нужна подорожная. Послѣ данной мною подписки губернаторъ не удостоивалъ меня посѣщеніемъ, а заставлялъ ждать его въ прихожей. Я отправилась къ нему, и мнѣ выдали подорожную (паспортъ) на имя казака, который долженъ быть меня сопровождать, а мое имя замѣнили «съ будущимъ».

Возвратившись домой, я нашла у себя Александрину Муравьеву (урожденную Чернышеву): она только что пріѣхала. Между моимъ и ея отъѣздомъ была разница въ нѣсколько часовъ, а я опередила ее на восемь дней. Мы напились вмѣстѣ чаю, то смѣясь, то плача,—и не безъ по-воды: мы были окружены опять этими смѣшными чиновниками, которые вернулись, чтобы произвести обыскъ въ ея вещахъ. Я отправилась затѣмъ, какъ настоящій курьеръ. Я гордилась, что доѣхала до Иркутска въ 20 дней.

Я переехала Байкалъ ночью при ужаснѣйшемъ морозѣ: слезы замерзали въ глазахъ, дыханіе, казалось, превращалось въ ледь. Въ Верхнеудинскѣ, маленькомъ уѣздномъ городишкѣ, я не нашла снѣга,—почва тамъ такая песчаная, что впитываетъ въ себя весь снѣгъ; то же самое и въ Кяхтѣ—нашемъ пограничномъ съ Китаемъ городѣ,—холодъ тамъ ужасный, а санного пути нѣть. Я остановилась у полковника Александра Муравьева,—сосланного,

но не разжалованного<sup>13</sup>. Его жена и невѣстка приняли меня съ распростертymi объятіями; такъ какъ было уже поздно, то они заставили меня переночевать у нихъ, а на другой день, взявъ двѣ почтовыя повозки, я велѣла уложить въ нихъ вещи и, оставивъ кибитки, отправилась въ дальнѣйшій путь.

Мысль ъхать на перекладныхъ меня очень занимала, но моя радость исчезла, когда отъ сильной тряски я почувствовала боль въ груди. Я приказывала остановиться, чтобы вдохнуть свободно. Это удовольствіе я испытывала на протяженіи 600 верстъ; кромѣ того, мнѣ пришлось погодать: меня не предупредили, что на станціяхъ я ничего не найду, такъ какъ онѣ содержались бурятами, которые питаются только сырьемъ, сушенымъ или соленымъ мясомъ и кирпичнымъ чаемъ съ топленымъ жиромъ. Наконецъ, я пріѣхала въ Бянкино, къ богатому купцу, который отнесся ко мнѣ съ необыкновеннымъ вниманіемъ: онъ мнѣ устроилъ цѣлое пиршество и оказывалъ мнѣ необычайное уваженіе. Меня сильно клонило ко сну, я ему еле отвѣчала и, наконецъ, уснула на диванѣ. На другой день я пріѣхала на Большой Нерчинскій заводъ, мѣсто пребыванія начальника рудниковъ. Здѣсь я догнала Каташу, которая уѣхала на восемь дней раньше меня. Мы были чрезвычайно рады, встрѣтивъ другъ друга. Я была счастлива имѣть подругу, съ которой я могла дѣлиться мыслями; мы поддерживали другъ друга. До сихъ поръ все мое общество заключалось въ этой противной горничной. Я узнала, что мой мужъ находится въ 12-ти верстахъ отсюда, въ Благодатскомъ рудникѣ. Каташа, подписавъ еще одну бумагу, отправилась впередъ, чтобы извѣстить Сергея о моемъ пріѣздѣ. По окончаніи всѣхъ скучныхъ формальностей, Бурнашевъ, начальникъ рудниковъ, далъ мнѣ подписать еще одну бумагу, въ которой я выражала согласіе видѣться съ мужемъ только два раза въ недѣлю въ присутствіи офицера и унтеръ-офицера, никогда не приносить ему ни вина, ни пива, никогда не оставлять деревни безъ разрѣшенія чиновника—начальника тюрь-

мы,—и еще какія-то условія:—и это послѣ того, какъ я оставила своихъ родителей, ребенка, родину, послѣ того какъ я проѣхала 6.000 верстъ и дала подпиську, отказываясь отъ всего—даже отъ защиты законовъ,—тутъ мнѣ заявляютъ, что мнѣ отказано даже въ защитѣ меня моимъ мужемъ. Государственные преступники, какъ простые каторжники, должны выносить всю суворость законовъ, но имъ не разрѣшается семейная жизнь, даруемая величайшимъ преступникамъ и злодѣямъ. Я видѣла, какъ эти послѣдніе возвращались къ себѣ по окончаніи работъ, выходили изъ тюрьмы занимались своими дѣлами; только послѣ повторенія преступленія на нихъ надѣвали кандалы и заключали въ тюрьму, между тѣмъ какъ наши мужья были заперты въ тюрьмы и въ кандалахъ съ первого дня ихъ приѣзда сюда. Бурнашевъ, испуганный моимъ оцѣненіемъ, предложилъ мнѣ щѣхать въ Благодатскъ на другой день рано утромъ, что я и сдѣлала; онъ провожалъ меня въ своихъ саняхъ.

#### БЛАГОДАТСКІЙ РУДНИКЪ.

Эта деревня состояла лишь изъ одной улицы, и была окружена горами, болѣе или менѣе изрытыми раскопками. Эти раскопки производились для добыванія свинца, содержащаго въ себѣ серебряную руду. Мѣстоположеніе было бы прекрасное, если бы на 50 верстъ кругомъ не вырубили лѣсовъ изъ опасенія, чтобы бѣглые каторжники не находили тамъ убѣжища; даже кустарники были вырублены и поэтому зимой видъ былъ печальный <sup>14</sup>.

Тюрьма была расположена у подошвы высокой горы, это была брошенная казарма—тѣсная, грязная, отвратительная. Три солдата и одинъ унтеръ-офицеръ составляли внутреннюю стражу и никогда не смѣялись. Впослѣдствіи поставили двѣнадцать казаковъ съ унтеръ-офицеромъ во главѣ для наружного караула.

Тюрьма состояла изъ двухъ отдѣлений, между которыми находились холодные сѣни. Въ одномъ отдѣлении

помѣщались бѣглые каторжники, которые, будучи пойманы, содержались въ кандалахъ. Другое отдѣление предназначалось напримѣръ государственнымъ преступникамъ, причемъ при входѣ помѣщались солдаты и унтеръ-офицеръ, которые курили отвратительный табакъ и совсѣмъ не заботились о чистотѣ помѣщенія. Вдоль стѣнъ тянулось нѣчто вродѣ конуръ или клѣтокъ, предназначеннѣхъ для заключенныхъ; чтобы попасть въ нихъ, надо было подняться на двѣ ступеньки. Клѣтка Сергія имѣла только три аршина длины и два—ширины, она была такъ низка, что въ ней совсѣмъ нельзя было стоять; здѣсь же, вмѣстѣ съ нимъ, помѣщались Трубецкій и Оболенскій. Послѣдній, не имѣя мѣста для своей кровати, велѣлъ прибить себѣ доски надъ кроватью Трубецкого. Такимъ образомъ получилось нѣчто вродѣ маленькихъ тюремъ въ самой тюрьмѣ. Бурнашевъ предложилъ мнѣ войти. Въ первую минуту я ничего не видѣла,—такъ тамъ было темно; открыли маленькую дверцу нальво, и я поднялась въ отдѣленіе мужа. Сергій бросился ко мнѣ; лязгъ его цѣпей поразилъ меня. Я не знала, что онъ былъ закованъ въ кандалы. Подобное суворое наказаніе дало мнѣ понять о всей силѣ его страданій. Видъ его кандаловъ такъ взволновалъ и растрогалъ меня, что я бросилась передъ нимъ на колѣни и поцѣловала сначала его кандалы, а потомъ и его самого. Бурнашевъ, который за недостаткомъ мѣста не могъ войти, а стоялъ на порогѣ, осталъ на порогѣ отъ изумленія при видѣ моего восторга и уваженія къ мужу, которому онъ говорилъ «ты» и съ которымъ обращался, какъ съ каторжникомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если даже рассматривать убѣжденія нашихъ узниковъ, какъ безуміе и бредъ, то и тогда, разсудя справедливо, надо сознаться, что тотъ, кто жертвуетъ жизнью за свои убѣжденія, заслуживаетъ уваженіе соотечественниковъ. Кто кладетъ голову свою на плаху за свои убѣжденія, тотъ истинно любить отчество, хотя можетъ быть и преждевременно затѣять дѣло свое.

Я старалась казаться веселой; зная, что дядя мой Да- выдовъ находится за перегородкой, я стала говорить гром- ко, чтобы онъ могъ меня слышать и сообщила ему свѣдѣнія о его женѣ и дѣтяхъ. Когда свиданіе окончилось, я отпра- вилась устраиваться въ ту же крестьянскую избу, где до меня жила Каташа. Она была такъ тѣсна, что, когда я ло- жилась на полу на свое мѣтрацѣ, то головой касалась стѣны, а ногами упиралась въ дверь. Печь дымила, такъ что ее нельзя было топить, если погода была вѣтреная; въ окнахъ, вмѣсто стеколь, была вставлена слюда.

По правиламъ тюрьмы каторжныя работы производи- лись ежедневно, кромѣ воскресеній—отъ 5 часовъ утра до 11-ти: каждый долженъ быть выработатъ въ день три пуда руды.

Тутъ будетъ какъ разъ умѣстно упомянуть, какъ Прави-тельство ошибается относительно нашего доброго рус- скаго народа. Еще въ Иркутскѣ меня предупредили, что я рискую подвергнуться оскорблѣніямъ, даже быть убитой въ рудникахъ, и что мѣстные власти не будутъ въ со- стояніи защитить меня, такъ какъ эти несчастные совсѣмъ не боятся наказаній. И вотъ теперь я находилась среди этихъ людей, которые принадлежали къ подонкамъ чело- вѣчества, и тѣмъ не менѣе они относились къ намъ съ большимъ уваженіемъ, больше того,—они прямо таки бого-творили меня и Каташу, а нашихъ заключенныхъ они на- зывали не иначе, какъ «наши князья», «наши господа»; когда же имъ приходилось работать вмѣстѣ, то они пред-лагали сдѣлать вмѣсто нихъ урочную работу; приносили имъ горячую картошку, испеченную въ золѣ. Эти несчаст-ные, отбывъ срокъ присужденныхъ имъ каторжныхъ ра-ботъ и искупивъ тяжкими наказаніями свои преступленія, большую частью потомъ дѣлались порядочными людьми, начинали работать на себя, становились добрыми отцами семействъ и даже торговцами. Немного нашлось бы подоб-ныхъ честныхъ людей среди тѣхъ, которые выходятъ изъ каторжныхъ тюремъ Франціи и Англіи.

На другой день по приѣздѣ въ Благодатскъ я встала на

разсвѣтѣ и отправилась по деревнѣ, разспрашивая о мѣстѣ, где работаетъ мой мужъ. Я увидѣла входъ, веду-щій какъ бы подъ землю, въ подвалъ и возлѣ воору-женного часового. Мнѣ сказали, что здѣсь они спускаются въ рудникъ. Я спросила, можно ли ихъ увидѣть за рабо-той. Этотъ добрый парень поспѣшилъ дать мнѣ восковую свѣчу, нѣчто въ родѣ факела, и въ сопровожденіи еще одного сторожа — старшаго,—я рѣшила спуститься въ этотъ мрачнѣй лабиринтъ. Тамъ было довольно тихо, но спертый воздухъ затруднялъ дыханіе. Я шла быстро и услышала позади себя голосъ, который кричалъ мнѣ, что-бы я остановилась. Я поняла, что это былъ офицеръ, ко-торый хотѣлъ удержать меня отъ разговора съ узниками. Я погасила факель и бросилась бѣжать, такъ какъ я ви-дѣла вдали свѣтящіяся точки. Это были наши узники, работающіе на небольшомъ возвышеніи; они спустили мнѣ лѣстницу, я влѣзла по ней, затѣмъ ее втащили обратно,—и такимъ образомъ я увидѣла товарищей мужа, передала имъ извѣстія изъ Россіи и привезенные письма. Здѣсь не было ни мужа, ни Оболенскаго, ни Якубовича, ни Трубец-кого. Я увидѣла Давыдова, обоихъ Борисовыхъ и Арта-мана Муравьевъ. Они были въ числѣ первыхъ 8-ми человѣкъ, высланныхъ изъ Россіи и единственныя, отпра-вленные въ Нерчинскіе заводы. Тѣмъ временемъ офицеръ внизу, продолжая звать меня, терялъ терпѣніе; наконецъ, я спустилась,—и съ тѣхъ поръ послѣдовало строгое за-прещеніе впускать насъ, дамъ, въ шахты. Артамонъ Му-равьевъ назвалъ эту сцену моимъ «сопствіемъ въ адѣ».

Приѣздъ нашъ—мой и Каташи—принесъ заключен-нымъ огромную пользу. Такъ какъ имъ запрещено было писать, то они были лишены извѣстій о своихъ семьяхъ, равно какъ и всякой денежнѣй помощи. Теперь мы стали писать за нихъ и они начали получать письма и посылки. Между тѣмъ мы чувствовали недостатокъ въ деньгахъ: я привезла съ собой всего 700 рублей ассигнаціями, осталъ-ные мои деньги находились на рукахъ у губернатора. А у Каташи больше ничего уже не было. Столъ нашъ былъ

весьма скучный: супъ и каша—вотъ и вся наша пища; ужина совсѣмъ не было. Каташа, привыкшая въ отцовскомъ домѣ къ изысканному столу, Ѳла кусокъ чернаго хлѣба и запивала его квасомъ. Одинъ изъ тюремныхъ стражей засталъ ее однажды за такимъ ужиномъ и рассказалъ обѣ этомъ ея мужу. Обыкновенно мы сами готовили обѣдъ и посыпали его нашимъ заключеннымъ. Кромѣ того, надо было чинить ихъ бѣлье. Я какъ сейчасъ вижу Каташу съ поваренной книжкой въ рукахъ, приготовляющу имъ кушанья и соусы. Но лишь только наши заключенные узнали, что мы очень стѣснены въ денежнѣмъ отношеніи, они тотчасъ же отказались отъ нашихъ обѣдовъ; тюремные солдаты, все добрые люди, взяли на себя эту обязанность. Это было очень кстати, такъ какъ наши служанки стали очень упрямы, онѣ не хотѣли намъ ни въ чемъ помогать, стали дурно себя вести и сходились съ тюремными унтеръ-офицерами и казаками. Начальство взглянуло на это неодобрительно и потребовало ихъ удаленія. Не могу передать, съ какимъ грустнымъ чувствомъ смотрѣли мы на ихъ отѣздѣ въ Россію; всѣ заключенные стояли у оконъ, провожая глазами ихъ повозку. Каждый думалъ про себя: «этотъ путь навсегда для меня закрытъ». Мы остались безъ служанокъ; я сама мела поль, убирала комнату, причесывала Каташу, и, увѣряю васъ, все шло лучше въ нашемъ хозяйствѣ.

Когда началась оттепель, я стала замѣчать, какъ несчастные неженатые каторжники, жившіе въ общей казармѣ, садились у порога тюрьмы и по-долгу смотрѣли въ даль. Я спросила о причинѣ этого, и мнѣ объяснили, что съ приближенiemъ весны несчастными каторжниками овладѣваетъ непреодолимое желаніе бѣжать и они съ радостью наблюдаютъ всегда таяніе снѣга: зимой, не имѣя ни шубы, ни теплой обуви, они не рискуютъ бѣжать, но весной большая часть ихъ убѣгала, причемъ нѣкоторымъ изъ нихъ удавалось достигнуть Россіи. Никогда не случалось, чтобы ихъ выдавали, и они доживали тамъ свои дни.

Первое время наши прогулки съ Каташой ограничи-

вались деревенскимъ кладбищемъ, и, гуляя здѣсь, мы спрашивали другъ друга: «неужели здѣсь насть похоронять?»—и эта мысль приводила насть въ такое отчаяніе, что мы перестали сюда ходить. Лѣтомъ мы дѣлали отъ 10 до 15 верстъ пѣшкомъ. Нашимъ любимымъ времяпровожденіемъ было сидѣніе на камнѣ противъ оконъ тюрьмы; отсюда я разговаривала съ мужемъ—довольно громко, такъ какъ разстояніе было весьма значительное. Очень меня стѣсняло то, что я видѣла, какъ изъ тюрьмы выходили арестанты за водой или за дровами; они были безъ рубахъ или, если и надѣвали на себя, то лишь самое необходимое. Я купила холста и заказала имъ бѣлье. Наши деньги находились у начальника заведовъ,—и мы должны были—Каташа и я по очереди— отправляться на Большой Заводъ для представленія отчета нашихъ расходовъ. Я Ѳздила въ телѣгѣ со своимъ слугою, но всегда прилично одѣтая и въ соломенной шляпѣ съ вуалью. Мы съ Каташой всегда заботились о своемъ костюмѣ, такъ какъ никогда не слѣдуетъ ни приходить въ уныніе, ни распускаться, въ особенности здѣсь, гдѣ, благодаря нашей одеждѣ, насть узнавали еще издали и подходили къ намъ съ почтеніемъ. Я возвращалась съ провизіей, иногда сидя на мѣшкѣ съ мукой,—и за это крестьяне меня уважали ничуть не меньше и всегда мнѣ кланялись. Какъ-то для разнообразія я вздумала отправиться туда верхомъ, взяла казачью лошадь, велѣла привязать къ сѣдлу рожокъ и, въ сопровожденіи своего слуги, веселая, отправилась представить Бурнашеву свои счета. Онѣ всегда внимательно просматривали ихъ, а на этотъ разъ разсердился и сказалъ мнѣ: «Вы не имѣете права раздавать рубашки; вы можете облегчать бѣдность, раздавая по 5-ти или 10-ти копеекъ нищимъ, но не одѣвать людей, о которыхъ заботится государство».—«Въ такомъ случаѣ, милостивый государь, прикажите сами ихъ одѣть, такъ какъ я не привыкла видѣть полуоголыхъ людей, разгуливающими по улицѣ».—«Ну, не сердитесь, сударыня, впрочемъ, вы откровенны, какъ дитя, мнѣ это

больше нравится, а ваша подруга всегда хитрить со мной». Своимъ простымъ здравымъ смысломъ онъ понялъ это: у Каташи былъ умъ не безъ лукавства. Я положила конецъ разговору, сказавъ, что должна ъхать, такъ какъ не хочу запаздывать верхомъ въ горахъ.— «Какъ, вы верхомъ?» И онъ пошелъ за мною. Онъ никогда не видѣлъ дамскаго сѣдла и выражалъ мнѣ свое удивленіе, потому что мѣстныя женщины ъздили всегда верхомъ по-мужски.

Съ тѣхъ порь я стала дѣлать большія прогулки, иногда доставляя себѣ удовольствіе вступить на почву Китая, граница котораго лежала отъ насъ по прямому пути на разстояніи только 12 верстъ. Каждый годъ жители Благодатска въ извѣстные дни отправлялись на границу, гдѣ обмѣнивали свои скромные пищевые продукты на кирпичный чай и на просо. Эта контрабанда существовала долго и служила поддержкой для бѣдныхъ людей, у которыхъ нечѣмъ было платить пошлины.

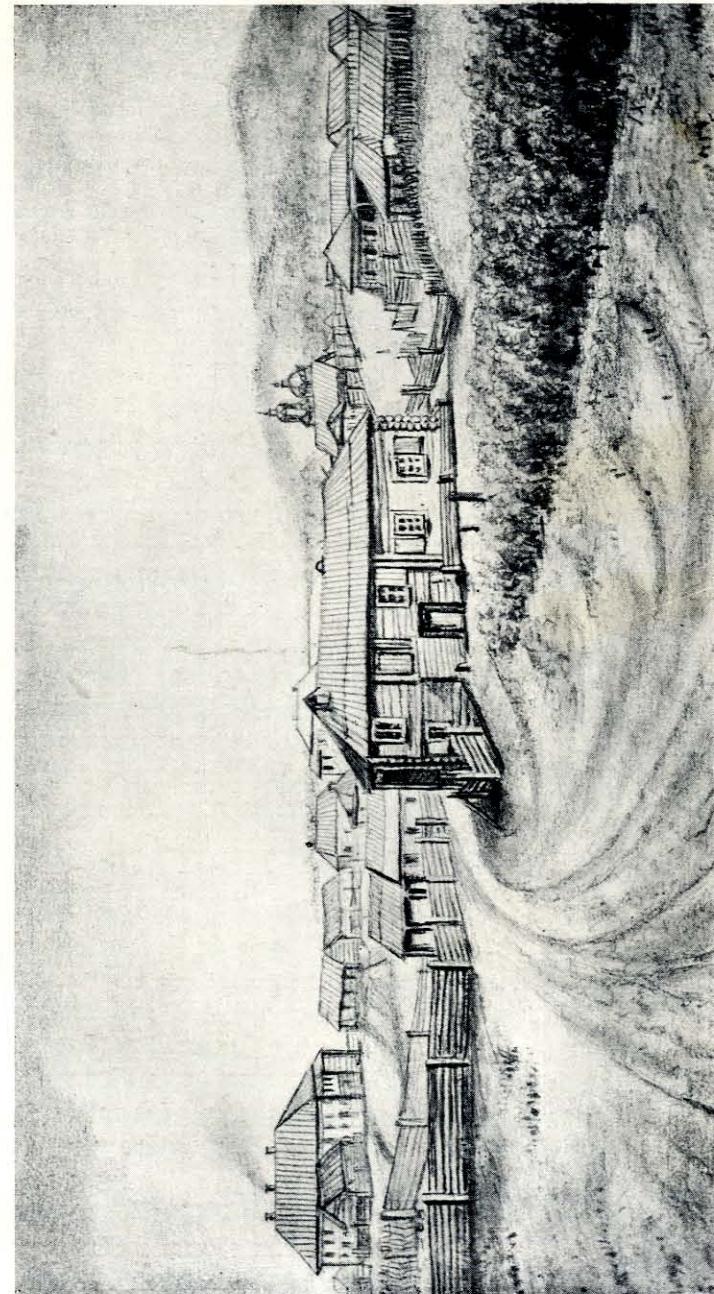
Какъ у вамъ уже сказала, я только два раза въ не-дѣлю ходила на свиданія съ мужемъ. Въ одинъ изъ промежутковъ между этими свиданіями произошло одно событие, которое очень насъ напугало и опечалило. Горный офицеръ Рикъ, которому былъ ввѣренъ надзоръ за тюрьмой, вздумалъ увеличить несчастнымъ трудности заключенія: онъ потребовалъ, чтобы тотчасъ, возвратившись съ работы, вмѣсто того, чтобы умывшись и переодѣвшись, обѣдать вмѣстѣ, каждый шелъ въ свою клѣтку и ъль тамъ то, что ему подадутъ. Кроме того, изъ экономіи, онъ пересталъ выдавать имъ свѣчи. Оставаться же безъ свѣта съ 3-хъ часовъ пополудни до 7 часовъ утра, зимой, въ помѣщеніи, похожемъ на клѣтку, гдѣ можно задохнуться,—это было настоящимъ мученіемъ; кроме того, всякие разговоры одного отдѣленія съ другимъ были запрещены. Тогда наши заключенные говорились и, зная, какъ тюремщики боятся, чтобы ввѣренные имъ узники не покупались на свою жизнь, чтобы напугать Рика, отказались принимать какую-либо пищу. Вотъ прошелъ цѣлыи

день—они ничего не ъли; обѣдъ и ужинъ отослали не тронутыми; на другой день—та же самая исторія. Рикъ потерялъ голову; тотчасъ же послалъ докладъ, будто бы государственные преступники взбунтовались и хотятъ уморить себя голодомъ. Это случилось еще зимой, спустя нѣсколько дней послѣ моего прїезда. Я ничего не подозревала, точно также и Каташа. Велико было наше удивленіе, когда мы увидѣли, что прїехалъ Бурнашевъ со своей свитой. Они остановились въ избѣ рядомъ съ нашей. Мѣстные жители собрались вокругъ. Я спросила у одной изъ женщинъ, что все это значить, она мнѣ отвѣтила: «Секретныхъ судить будутъ». И я увидѣла мужа и Трубецкаго, медленно подвигавшихся подъ конвоемъ солдатъ. Каташа, которая легко теряла голову, сказала мнѣ, что у Сергія руки связаны за спиной. Но это было невѣрно: я знала его привычку ходить такъ. Я вижу—она подбѣгаешь къ стоявшему тамъ солдату горнаго вѣдомства, и затѣмъ возвращается съ довольнымъ лицомъ: «Мы можемъ быть спокойны, ничего не случится, я спросила сейчасъ у солдата, приготовили ли розги, онъ мнѣ сказалъ, что нѣть».—«Каташа, что вы надѣлали? даже и допускать не должно подобной мысли». Между тѣмъ, мой мужъ приближался; я стала на колѣни на снѣгу и умоляла его не выходить изъ себя, онъ мнѣ это обѣщалъ. Бурнашевъ (какъ я потомъ узнала) принялъ строгій и суровый видъ, угрожая имъ въ случаѣ возмущенія наказаніемъ кнутомъ и, послѣ длинной рѣчи, разрѣшилъ имъ объясниться. Сергій сказалъ ему, что никто и не думалъ поднимать возмущеніе, что господинъ Рикъ запиралъ ихъ тотчасъ же по возвращеніи съ работы въ ихъ отдѣленіяхъ безъ свѣта, не позволяя имъ обѣдать вмѣстѣ, а отдѣленія эти были настолько низки и темны, что въ нихъ нельзя было стоять. Я увидѣла мужа, когда онъ со спокойнымъ видомъ шелъ обратно, онъ сказалъ мнѣ: «все вздоръ». Онъ успокоилъ меня, говоря, что все кончится хорошо. Затѣмъ привезли остальныхъ; имъ было легко отвѣтить, такъ какъ Сергій предупредилъ ихъ о во-

просахъ, которые имъ будуть задаваться. Когда всѣ ушли, мы съ Каташой вошли къ Бурнашеву, и я прямо у него спросила, что за причина всего того, что произошло. Онъ сказалъ мнѣ: «Ничего, ничего, просто мой офицеръ сдѣлалъ изъ мухи слона». Тѣмъ не менѣе по всему было видно, что онъ раздѣлялъ опасенія Рика, такъ какъ тотчасъ же приказалъ отпереть отдѣленія, разъшиль заключеннымъ проводить время въ тюрьмѣ такъ, какъ они хотятъ и позволилъ выдавать имъ по вечерамъ свѣчи. Спустя нѣкоторое время Рикъ былъ смыщенъ, а на его мѣсто назначенъ господинъ Резановъ — человѣкъ уже пожилой, честный и достойный. Онъ приходилъ въ тюрьму играть въ шахматы и съ наступленіемъ теплой погоды водилъ нашихъ на прогулку; эти прогулки продолжались по нѣсколько часовъ, при этомъ братья Борисовы, страстные естествоиспытатели, собирали травы и составили коллекцію насѣкомыхъ и бабочекъ.

Кромѣ нашей тюрьмы, тамъ была еще одна тюрьма, въ которой содержались тѣ несчастные, которые нѣсколько разъ совершили побѣги и грабежи. Ихъ кандалы были гораздо тяжелѣ, а работа — труднѣе. Среди нихъ находился и знаменитый разбойникъ Орловъ — герой въ своемъ родѣ. Онъ никогда не трогалъ бѣдняковъ, а нападалъ только на купцовъ и въ особенности на чиновниковъ, онъ однажды даже доставилъ себѣ удовольствіе и нѣкоторыхъ изъ нихъ высѣкъ. У этого Орлова былъ великолѣпный голосъ, онъ составилъ хоръ изъ своихъ товарищей по заключенію и часто, при заходѣ солнца, я слушала, какъ они пѣли съ необыкновенной стройностью и выражениемъ; особенно часто они любили повторять одну пѣсню, полную глубокой тоски: «Воля, воля дорогая». Это было ихъ единственнымъ развлечениемъ; набитые въ тѣсной, темной тюрьмѣ, они выходили изъ нея только для работы.

Насколько мнѣ позволяли средства, я помогала имъ, поопрѣля ихъ пѣніе, садясь возлѣ ихъ печального жилища. Однажды я узнаю, что Орловъ бѣжалъ. Всѣ поиски



Домъ Сергея Волконского, въ селеніи Урикъ.

(По рисунку П. Валуева 1885 г.)

его остались тщетны. Какъ-то прогуливаясь возлѣ тюрьмы, я увидѣла каторжника, слѣдовавшаго за мной; когда-то это былъ бравый гусаръ; онъ говорить мнѣ вполнѣ голоса: «Княгиня, меня къ вамъ послалъ Орловъ, онъ скрывается въ этихъ горахъ, въ скалахъ надъ вашимъ домомъ, онъ уже давно тамъ и просить васъ послать ему денегъ на шубу; ночи становятся уже холода-ные». Меня очень испугало это открытие, а съ другой стороны—какъ оставить бѣднагу безъ помощи? Я вернулась домой, взяла 10 рублей, предварительно сказавъ бывшему гусару, чтобы онъ за мной не слѣдоваль, но замѣтилъ бы то мѣсто, гдѣ я во время прогулки наклонюсь, чтобы положить деньги подъ камень. Онъ исполнилъ все, какъ я ему сказала, и сразу нашелъ деньги. Спустя двѣ недѣли, когда я была одна въ комнатѣ, а Каташа еще не возвра-щалась со свиданья, я сидѣла за клавикордами и пѣла; было довольно темно; вдругъ кто-то очень высокаго роста вошелъ и сталъ на колѣни у порога. Я подошла—это былъ Орловъ въ шубѣ съ двумя ножами за поясомъ. Онъ ска-залъ мнѣ: «Я опять пришелъ къ вамъ, дайте мнѣ сколько-нибудь, мнѣ совсѣмъ нечѣмъ жить, Богъ вернетъ вамъ, ваше сіятельство!» Я дала ему пять рублей и попросила поскорѣе уйти. Возвратившаяся изъ тюрьмы Каташа очень испугалась, узнавъ объ этомъ визитѣ, да и было отчего, какъ вы сейчасъ увидите. Я легла поздно, все время думая объ этомъ разбойникѣ, которого могли схва-тить, и тогда Бурнашевъ, конечно, не упустить случая повторить свою фразу: «Вы хотите поднять каторжниковъ». Среди ночи вдругъ слышу выстрѣлы, бужу Каташу и мы посылаемъ въ тюрьму узнать, въ чемъ дѣло. Тамъ все спокойно. Вся деревня на ногахъ и мнѣ говорять, что бѣглыхъ схватили на горѣ и всѣхъ арестовали за исключениемъ Орлова, который бѣжалъ черезъ трубу, или вѣр-пѣ чрезъ отверстіе, устроенное для выпусканія дыма. Этотъ несчастный, вмѣсто того, чтобы купить хлѣба, устроилъ попойку со своими товарищами, празднуя ихъ освобожденіе изъ тюрьмы. На другой день — наказаніе

плетьми, чтобы узнать, отъ кого получены деньги на водку; никто не выдалъ меня; гусаръ, какъ онъ мнѣ разсказывалъ впослѣдствіи, предпочелъ обвинить себя въ кражѣ, чѣмъ предать меня. Сколько благодарности и превзданности въ этихъ людяхъ, которыхъ мнѣ представили, какъ какихъ-то чудовищъ!

Насталъ Великий постъ. Наши заключенные не могли добиться священника и, такъ какъ въ деревнѣ не было церкви, то мы рѣшили отправиться на Большой Заводъ и тамъ говѣть. Это заняло у насъ четыре дня. Праздники мы провели грустно, единственнымъ нашимъ развлечениемъ было сидѣть на камнѣ у тюрьмы. Я играла также съ деревенскими дѣтьми, рассказывала имъ Священную исторію, они слушали меня съ благоговѣніемъ.

Однажды утромъ открывается дверь и въ комнату входитъ совершенно пьяный чиновникъ, поздравляетъ насъ съ праздникомъ («Христосъ Воскресе!») и подходить къ намъ христосоваться — по народному обычая. Отвѣтивъ ему, что въ Россіи это не принято, я загородилась стуломъ, который протащила до двери, и открыла ее. Вшелъ мой слуга, а Каташа тѣмъ временемъ разговаривала съ этимъ господиномъ, который оказался почтмейстеромъ. Ефимъ сказалъ ему, что у начальника тюрьмы его ожидаетъ завтракъ, онъ тотчасъ же ушелъ, не видя ничего у насъ на столѣ. На другой день Каташа отправилась на Большой Заводъ къ обѣднѣ и зашла къ купцу, у которого намъ было вѣрѣно всегда останавливаться, такъ какъ онъ былъ шпионъ Бурнашева. У хозяйки было много приглашенныхъ къ обѣду гостей, она пригласила къ столу Каташу и отказаться — значило бы нанести хозяевамъ жестокую обиду, такъ какъ гостепріимство было главной добродѣтелью сибиряковъ. Каташа покорилась необходимости и, ради приличія, заговорила со своимъ сосѣдомъ, который оказался никѣмъ инымъ, какъ нашимъ почтмейстеромъ. Она сказала ему: — «Мы съ вами старые знакомые, не правда-ли?» — «Нисколько, потому что я потому только и зашелъ къ вамъ, что былъ въ пья-

номъ видѣ». Сильно сконфуженная Каташа разговаривала послѣ этого только съ хозяйкой дома и тотчасъ послѣ обѣда уѣхала.

Было запрещено (на Большомъ Заводѣ) не только съ нами видѣться, но и кланяться намъ; всѣ, кого мы встрѣчали, или сворачивали въ переулокъ, или отворачивались отъ насъ. Наши письма передавались Бурнашеву открытыми, пересыпались въ канцелярію Коменданта, затѣмъ отправились въ канцелярію Иркутского Гражданского Губернатора, а отсюда уже въ Петербургъ — въ III Отдѣленіе Канцеляріи Его Величества, такъ что письма наши, прежде чѣмъ доходили до нашихъ родственниковъ, были въ пути безконечно долго<sup>15</sup>.

Ко всѣмъ страданіямъ, которыя испытывали наши заключенные, присоединилось еще новое: на нихъ напали клопы, и въ такомъ количествѣ, что Трубецкой натирался скрипидаромъ и все же это не помогало. Резановъ позволилъ имъ ночевать на чердакѣ, — и это хотя на нѣсколько часовъ освобождало ихъ отъ мученій.

Когда я возвращалась изъ тюрьмы, я вытрясала свое платье, — такая масса клоповъ была на мнѣ. Для нашихъ заключенныхъ это было равносильно наказанію, которое налагается въ Персіи на преступниковъ, обреченныхъ на съденіе насѣкомымъ.

Мы получили, наконецъ, извѣстія отъ Александрины Муравьевой, которая уже устроилась въ Читинскомъ Острогѣ, иначе говоря, — въ Читѣ — большой деревнѣ, гдѣ уже находились ея мужъ и нѣсколько другихъ заключенныхъ, привезенныхъ, какъ водится, въ почтовой телѣгѣ подъ конвоемъ жандармовъ и фельдъ-егеря.

Александрина сообщала намъ о прибытіи Коменданта Лепарского и его свиты, и о томъ, что насъ всѣхъ переведутъ въ Читу. Мысль, что мы теперь будемъ всѣ вмѣстѣ и что кончилось наше пребываніе подъ начальствомъ офицеровъ горнаго вѣдомства, доставляла намъ большую радость. Мы уже начали укладываться, когда Бурнашевъ велѣлъ доложить о себѣ; онъ вошелъ со своей свитой,

которая все время стояла, и спросила меня, начала ли я готовиться въ дорогу; я съ довольною видомъ отвѣчала ему, что мы уже готовы.—«Ну, вы особенно не спѣшите, вамъ не придется уѣхать такъ скоро, дороги небезопасны: каторжники, прибывши изъ Россіи, взбунтовались и грабятъ». Отчасти это было вѣрно; но бунтъ произошелъ потому, что эти несчастные были лишены самаго необходимаго. Бурнашевъ боялся совсѣмъ не за нась, а за себя, вообразивъ, что наши заключенные могутъ пристать къ бунтовщикамъ. По прошествіи двухъ недѣль мы, наконецъ, получили разрѣшеніе ѿѣхать.

#### ПРИѢЗДЪ ВЪ ЧИТУ И ПРЕБЫВАНІЕ ТАМЪ.

Мы купили двѣ телѣги, одну—для себя, другую для вещей,—и поѣхали. Теперь я съ удовольствіемъ возвращалась по этой дорогѣ, окаймленной прекраснымъ лѣсомъ и чуднѣми цвѣтами. Я опять остановилась у того богатаго купца, который тогда такъ хорошо меня принялъ. Наконецъ, мы прибыли въ Читу—разбитыя отъ усталости, и остановились у Александрины Муравьевой. Нарышкина и Ентальцева недавно только прибыли изъ Россіи. мнѣ тотчасъ же показали тюрьмы или остроги, уже полные ссылыми. Тюремъ было три,—это было нѣчто вродѣ казармъ, окруженнѣхъ высокимъ, какъ мачты, частоколомъ. Одна изъ тюремъ была довольно помѣстительна, другіе—очень невелики.

Александрина жила противъ одной изъ этихъ послѣднихъ въ избѣ одного казака, который изъ слухового окна на чердакѣ устроилъ большое окно; Александрина подвела меня къ этому окну и показала мнѣ заключенныхъ; она называла ихъ по именамъ по мѣрѣ того, какъ они появлялись въ своемъ огородѣ. Каждый держалъ что-нибудь въ руки—кто трубку, кто лопату, кто книгу. Я не знала ни одного изъ нихъ; видъ ихъ былъ спокойный и даже веселый, одѣты они были очень чисто. Среди нихъ

были и совсѣмъ юноши, имѣвшіе на видъ не болѣе 18, 19 лѣтъ, какъ, напримѣръ, Фроловъ, братья Бѣляевы.

Наши заключенные ходили на работу, но такъ какъ здѣсь рудниковъ не было,—такъ плохо знало правительство топографію страны, предполагая, что рудники имѣются здѣсь повсюду,—то комендантъ придумалъ для нихъ другія работы: онъ заставилъ ихъ чистить хлѣвы и казенныя конюшни, давно заброшенныя, подобно миѳическому Авгіевымъ конюшнямъ. Это было еще зимой, задолго до нашего прїѣзда, а съ наступленіемъ лѣта имъ приказано было мести улицы. Мой мужъ прїѣхалъ спустя два дня послѣ нась со своими товарищами и ихъ неизбѣжными спутниками. Послѣ того, какъ улицы были приведены въ порядокъ, комендантъ придумалъ дать имъ работу на ручныхъ мельницахъ; заключенные должны были смолоть каждый день определенное количество муки,—наказаніе, налагаемое обыкновенно въ монастыряхъ, но здѣсь эта работа какъ нельзя болѣе соответствовала монастырскому образу жизни, который вели наши заключенные. Такъ провели они 15 лѣтъ своей прекрасной юности въ суровомъ заточеніи, будучи приговорены только къ ссылкѣ и каторжнымъ работамъ, а никакъ не къ тюремному заключенію.

Мнѣ нужно было искать для себя помѣщеніе. Нарышкина уже устроилась съ Александриной. Я пригласила къ себѣ Ентальцеву и мы втроемъ съ Каташой заняли одну комнату въ домѣ діакона. Она была разделена перегородкой. Ентальцева взяла себѣ меньшую половину. Этой славной женщинѣ исполнилось уже 44 года, она отличалась умомъ, читала все, что было написано на русскомъ языкѣ, разговоръ ея былъ пріятель. Она была предана душой и сердцемъ своему угрюому мужу, бывшему артиллерійскому полковнику <sup>16</sup>. Каташа примирилась со всѣмъ: она была воспитана въ великолѣпномъ дворцѣ Лаваля въ Петербургѣ, гдѣ ходила по мраморнымъ плитамъ Нерона, пріобрѣтеннымъ ея матерью въ Римѣ, она все испытала, но продолжала любить общество и

свѣтскіе разговоры, обладала изящнымъ и острымъ умомъ, мягкимъ и пріятнымъ характеромъ<sup>17</sup>.

Начавъ говорить о своихъ подругахъ, должна сказать, что больше всѣхъ я любила Александрину Муравьеву; у нея было нѣжное сердце, благородство выражалось во всѣхъ ея поступкахъ; восторгаясь своимъ мужемъ, она его боготворила и хотѣла, чтобы и мы къ нему относились также<sup>18</sup>. Никита Муравьевъ имѣлъ холодный и серьезный характеръ, это быть скорѣе человѣкъ кабинетный и никоимъ образомъ не былъ способенъ на живое дѣло; мы искренно его уважали, но не раздѣляли ея восторженности.

Нарышкина была маленькая, очень полная женщина, не безъ жеманства, но въ сущности очень милая; надо было только привыкнуть къ ея гордому виду и тогда трудно было не полюбить ее<sup>19</sup>. Фонь-Визина пріѣхала вскорѣ послѣ того, какъ мы устроились; у нея было совершенно русское лицо, бѣлое, свѣжее съ выпуклыми голубыми глазами, она была маленькая, полненькая, очень болѣзненная; ея безсонницы сопровождались видѣніями, по ночамъ она такъ кричала, что было слышно на улицѣ. Все это у нея прошло, когда она пріѣхала въ Сибирь, осталась лишь привычка, уставясь на вѣсъ взглядомъ, предсказывать вамъ вашу будущность, но и эта причуда скоро у нея прошла; вернувшись въ Россію, она овдовѣла и, будучи 53 лѣтъ, снова вышла замужъ за Пущина, крестнаго отца моего сына<sup>20</sup>. Анненкова пріѣхала къ намъ, нося еще имя M-elle Поль. Это была молодая красивая француженка, лѣтъ 30-ти, въ ней такъ и искалисъ жизнь и веселье; она обладала удивительной способностью высмѣивать тѣхъ, съ кѣмъ ей приходилось встрѣчаться. Тотчасъ по ея пріѣздѣ комендантъ объявилъ ей, что уже получено повелѣніе Его Величества относительно ея свадьбы. Согласно требованію закона, съ Анненкова сняли кандалы, когда повели въ церковь, и съ потомъ опять надѣли. Дамы сопровождали M-elle Поль въ церковь. Она ни слова не понимала по-русски и все

время смѣялась съ шаферами — Свиштовымъ и Александромъ Муравьевымъ. Подъ этой кажущейся беззаботностью таилось глубокое чувство любви къ Анненкову, заставившее ее отказаться отъ своей родины и свободной, независимой жизни. Когда она подавала Государю просьбу о разрѣшеніи ейѣхать въ Сибирь, Его Величество стоялъ на крыльцѣ; садясь въ коляску, онъ спросилъ ее: «Вы замужемъ?» — «Нѣть, Государь, но я хочу раздѣлить участъ ссыльного». Это была преданная жена и нѣжная мать; она работала съ утра до вечера и сумѣла сохранить при этомъ свое изящество и свой языкъ<sup>21</sup>. На слѣдующій годъ къ намъ пріѣхала Давыдова<sup>22</sup>. Она привезла съ собой мою дѣвушку Машу, которая умолила моихъ родителей разрѣшить ейѣхать ко мнѣ<sup>23</sup>. Позже къ намъ пріѣхали еще три дамы (всего десять), о которыхъ я скажу послѣ.

Письма изъ Россіи доставлялись намъ теперь болѣе аккуратно, точно также и посылки. Однажды я получила цѣлый возъ съ провизіей, — тамъ были: сахаръ, вино, прованское масло, рисъ и даже портеръ, — но подобное удовольствіе только одинъ разъ было мнѣ доставлено, потому я узнала, что тому было причиной: оказалось, что мои родители уѣхали за-границу. Александрина, Каташа и Нарышкина каждый годъ получали все необходимое, такъ что для больныхъ всегда имѣлись вино и крупа. Скоро мы получили разрѣшеніе имѣть свиданія съ заключенными на дому, и какъ разъ въ это время прибыла моя провизія, которую мы и раздѣлили между товарищами. Особенно трудно было передавать вино, потому что оно строго было запрещено въ тюрьмѣ. Такъ какъ у меня было всего пятьдесятъ бутылокъ вина, то Сергѣй скоро перенесъ ихъ къ себѣ во время свиданій, кладя по двѣ бутылки въ карманъ.

Въ Читѣ наша жизнь сдѣлалась болѣе сносной; дамы видѣлись другъ съ другомъ во время прогулокъ въ окрестностяхъ деревни; мужчины снова встрѣтились со своими прежними друзьями. Въ тюрьмѣ все было общее—

книги, но было очень тесно, такъ какъ между кроватями было не болѣе аршина разстоянія; лязгъ цѣпей, шумъ отъ разговоровъ и пѣсень были невыносимы для тѣхъ, чье здоровье начинало слабѣть. Тюрьма была темная: окна въ ней, какъ въ конюшнѣ, находились подъ потолкомъ. Лѣтомъ заключенные проводили время на воздухѣ; на большомъ дворѣ каждый изъ нихъ имѣлъ ключекъ земли, которую обрабатывалъ, но зимой было невыносимо <sup>24</sup>.

Всѣхъ заключенныхъ было 73 человѣка. Вотъ ихъ имена <sup>25</sup>.

Такъ какъ свиданія были разрѣшены только два раза въ недѣлю, то мы ходили къ тюремной оградѣ, которая представляла изъ себя высокій частоколъ изъ толстыхъ, плохо сбитыхъ бревенъ: здѣсь мы видались и разговаривали съ нашими заключенными. Первое время мы очень боялись, чтобы не быть застигнутыми старымъ комендантомъ или его ужасными помощниками, бродившими кругомъ тюрьмы; мы давали денегъ часовому, и онъ предупреждалъ насъ объ ихъ приближеніи.

Однажды какой-то солдатъ горнаго вѣдомства счелъ своимъ долгомъ накричать на Каташу и—мало того—ударилъ ее кулакомъ. Тогда я побѣжала къ начальнику деревни Смольянинову, который пригрозилъ солдату наказаніемъ и написала затѣмъ очень рѣзкое письмо коменданту,—онъ на меня обидѣлся и надулся, но съ тѣхъ поръ мы могли оставаться у ограды, сколько хотѣли. А Каташа устраивала здѣсь цѣлое собраніе: она приносila съ собой складной стулъ и садилась (она была очень полна); внутри тюремного двора собирался кружокъ изъ заключенныхъ и каждый ожидалъ для разговора своей очереди.

Наше спокойствіе было нарушено прибытіемъ фельдегеря, который пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы увезти одного изъ заключенныхъ въ Петербургъ, гдѣ онъ долженъ былъ подвергнуться новому допросу. Намъ непремѣнно нужно было узнать, за кѣмъ именно онъ пріѣхалъ, такъ какъ

каждая изъ насъ боялась за своего мужа. Я отправилась гулять къ комендантскому дому и встрѣтила прибывшаго курьера, который меня узналъ, такъ какъ видѣлъ меня раньше у князя Петра Волконскаго; онъ мнѣ поклонился и, проходя мимо, сказалъ, что долженъ увезти одного изъ заключенныхъ, но имени его онъ не знаетъ. Тогда я попросила его прійти на другой день въ воскресенье къ обѣднѣ и сообщить мнѣ имя заключеннаго. На другой день я встала рано утромъ и отправилась въ церковь; здѣсь я ото всего сердца молиласъ Милосердному Богу, чтобы не увозили моего мужа. Я слышу звукъ шпоръ курьера; онъ становится у меня за спиной и, дѣлая земной поклонъ, говоритъ: «Корниловичъ». Я благодарю Бога и остаюсь въ церкви до конца обѣдни, несмотря на все нетерпѣніе успокоить скорѣе мужа, но помощники и шпіоны коменданта были тутъ же и не спускали съ насъ глазъ. Какъ только мнѣ удалось отъ нихъ избавиться, я бросилась бѣжать, чтобы извѣстить заключенныхъ трехъ тюремъ и нашихъ дамъ. Это происходило въ срединѣ зимы, было 40° мороза. О! какой это ужасный холодъ и сколько здоровья онъ у меня унесъ!

Все-таки мы не совсѣмъ повѣрили словамъ курьера, который еще сказалъ мнѣ, что онъ долженъ уѣхать въ ту же ночь. Мы рѣшили не спать всю ночь и распредѣлили между собой улицы деревни, я взяла на себя наблюденіе за улицей, гдѣ жилъ коменданть, такъ какъ тюрьма моего мужа находилась недалеко отъ его дома. Морозъ былъ ужасный; время отъ времени я заходила къ Александринѣ проглотить чашку чая; она находилась какъ разъ въ центрѣ нашихъ наблюденій — противъ тюрьмы资料 of my husband; чтобы мы могли грѣться, у нея все время кипѣлъ самоваръ. Вотъ уже полночь, часъ, два — ничего нового. Наконецъ, появляется Каташа и сообщаетъ намъ, что на почтовой станціи замѣтно движеніе и выводятъ изъ конюшни лошадей. Я бѣгу къ тюрьмѣ мужа, гдѣ находился и Корниловичъ, и вижу, какъ приближаются офицеры и казаки; они приказываютъ Корниловичу уло-

жить свои вещи, чтобы ѿхать въ Петербургъ. Я возвращаюсь къ Александринѣ и мы всѣ становимся у забора. Была великолѣпная лунная ночь; мы стоимъ и молча ожидаемъ. Наконецъ, мы видимъ, какъ шагомъ приближается кибитка; колокольчики подвязаны и не звенятъ; офицеры коменданта идутъ позади кибитки; какъ только они приблизились къ намъ, мы сразу вышли и закричали: «Счастлиаго пути, Корниловичъ, да сохранить васъ Господь!» Эффектъ получился неожиданный, какъ въ театрѣ; сопровождавшіе Корниловича не могли прійти въ себя отъ удивленія—какъ мы узнали объ этомъ отъ ъзда, который они сами держали подъ величайшимъ секретомъ? Долго потомъ объ этомъ раздумывалъ стариkъ коменданть.

Корниловичъ назадъ не вернулся. Послѣ безрезуль-татнаго допроса, онъ былъ заключенъ въ одну изъ фин-ляндскихъ крѣпостей, гдѣ и умеръ спустя нѣсколько лѣтъ. Это былъ человѣкъ съ сильнымъ характеромъ и если отъ него и можно было добиться точныхъ свѣдѣній о дѣлѣ, которое до самыx послѣднихъ дней приводило въ ужасъ Императора Николая, то во всякомъ случаѣ не путемъ всяческихъ униженій и моральныхъ страданій<sup>26</sup>.

Постепенно прибывали и остальные изгнанники и устраивались въ тюрьмѣ. Привезли двухъ поляковъ, изъ которыхъ одинъ, М. Рукевичъ, заставляя настъ много смѣяться своимъ чисто-сарматскимъ выходкамъ. Едва онъ успѣлъ войти въ острогъ, противъ дома Александрины, какъ стала у ограды и съ сентиментальнымъ видомъ (и сильнымъ польскимъ акцентомъ) запѣлъ старый французскій романсь: «Въ стѣнахъ мрачной башни младой король тоскуетъ» \*). Онъ не былъ ни молодъ, ни красивъ, ни интересенъ; эта затѣя пѣть французскій романсь, не зная языка, настъ очень насытила.

Нѣкоторые изъ ссыльныхъ, которымъ кончился срокъ заключенія, были отправлены на поселеніе, т. е.

\* ) Изъ оперы Гретри: «Ричардъ Львиное Сердце».

освобождены отъ работъ и разселены по всей Сибири: Лихаревъ, графъ Чернышевъ (брать Александрины), Лисовскій, Кривцовъ и другіе. Я должна была разстаться съ бѣдной Енталыцевой, которая уѣхала въ Березовъ, маленький и самый сѣверный городъ Тобольской губерніи. Прощаніе Александрины съ братомъ было раздирающее; больше имъ не суждено было увидѣться.

Годъ или два спустя Чернышевъ въ качествѣ простого солдата былъ отправленъ на Кавказъ. Мы занялись одеждой заключенныхъ, такъ какъ, кромѣ настъ, некому было позаботиться о ихъ бѣльѣ и платьѣ.

Коменданть позволилъ имъ проститься съ дамами.

### 1829 годъ.

1 августа 1829 года пришла великая новость: курьеръ привезъ повелѣніе снять съ заключенныхъ кандалы. Мы такъ привыкли къ звону цѣпей, что я даже съ нѣкоторымъ удовольствиемъ прислушивалась къ нему, такъ какъ онъ извѣщалъ меня при свиданіяхъ о приближеніи Сергѣя...

Первое время нашего изгнанія я думала, что оно, на-вѣрное, кончится черезъ 5 лѣтъ, затѣмъ я увѣряла себя, что это произойдетъ черезъ 10, потомъ черезъ 15 лѣтъ, но послѣ 25 лѣтъ я перестала ждать. Я просила у Бога только одного: чтобы онъ вывелъ изъ Сибири моихъ дѣтей.

Въ Читѣ я получила извѣстіе о смерти моего бѣднаго Николая, моего первенца, оставленнаго мною въ Петербургѣ.

Пушкинъ прислалъ мнѣ на него эпитафию:

«Въ сіянья, въ радостномъ покоѣ,  
У Трона Вѣчнаго Отца,  
Съ улыбкой онъ глядѣть въ изгнаніе земное,  
Благословлять мать и молитъ за отца...»

Черезъ годъ я узнала о смерти моего отца. Я такъ мало была подготовлена къ этому, потрясеніе было такъ

сильно, что мнѣ казалось, что небо упало на мою голову; я заболѣла. Комендантъ разрѣшилъ Вольфу, доктору и товарищу моего мужа, посыпать меня подъ конвоемъ солдатъ и офицера <sup>27</sup>.

Въ это время прошелъ слухъ, что комендантъ строить въ 600 верстахъ отъ насть огромную тюрьму съ казематами безъ оконъ; это насть очень опечалило. Я забыла сказать о томъ, что встревожило насть раньше еще больше: въ прошломъ году черезъ Читу прослѣдовала цѣль каторжниковъ, въ числѣ ихъ были и трое ссылочныхъ: Сухининъ, баронъ Соловьевъ и Мозгалевскій. Всѣ они принадлежали къ Черниговскому полку и были товарищами покойнаго Сергея Муравьева; они прошли весь путь пѣшкомъ вмѣстѣ съ уголовными преступниками. Они извѣстили насть о своемъ прибытии. Мужъвелѣль мнѣ пойти къ нимъ, помочь имъ, постараться успокоить Сухинина, который былъ очень возбужденъ, и уговорить его потерпѣть и не волноваться.

Острогъ, гдѣ остановились каторжники, находился за деревней, въ трехъ верстахъ отъ насть. На разсвѣтѣ я разбудила Каташу и Ентальеву и мы отправились, разумѣется, пѣшкомъ по страшному холоду; мы сдѣлали большой крюкъ, чтобы насть не замѣтили часовые. Когда мы подошли къ тюремной оградѣ, узники уже были тамъ и ожидали насть; было еще довольно темно. Сухининъ былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи, что и слушать ничего не хотѣлъ; онъ говорилъ все время о томъ, что надо поднять каторжниковъ въ Нерчинскѣ, вернуться въ Читу и освободить государственныхъ преступниковъ.

Соловьевъ, какъ человѣкъ очень спокойнаго и терпѣливаго характера, сказалъ мнѣ, что это не болѣе какъ временное возбужденіе и что онъ успокоится. Наконецъ, я ушла—печальная и встревоженная. И, дѣйствительно, мои опасенія сбылись. Какъ только Сухининъ прибылъ въ Нерчинскъ, онъ пересталъ довѣрять своимъ товарищамъ, разошелся съ ними, предавшись всецѣлью на сто-

рону мѣстныхъ каторжниковъ; въ количествѣ 200 человѣкъ они вооружились чѣмъ попало и отступили къ китайской границѣ; но они жестоко ошиблись: китайцы всегда выдаютъ русскому правительству довѣрившихся имъ бѣглыхъ, несчастныхъ безумцевъ ожидала другая участъ: они были всѣ схвачены пограничными казаками и заключены подъ стражу. Былъ отправленъ курьеръ къ Его Величеству, и полученъ приказъ судить всѣхъ въ 24 часа и наиболѣе виновныхъ разстрѣлять. Нашъ комендантъ отправился въ рудники и въ точности исполнилъ все, что ему было приказано.

Сухининъ узналъ о приговорѣ, произнесенномъ надъ нимъ, наканунѣ того дня, когда приговоръ долженъ быть приведенъ въ исполненіе, — но когда явились за нимъ въ тюрьму, то нашли его мертвымъ: онъ повѣсился на балкѣ, поддерживавшей потолокъ, а веревку ему замѣнилъ ремешокъ отъ кандаловъ. Всѣ остальные пригированные въ количествѣ 20 человѣкъ были выведены за окопицу деревни и здѣсь преданы смерти, но какимъ образомъ! Скомандовали солдатамъ стрѣлять, но ружья у нихъ были старыя и заржавленныя, а сами они, не умѣя цѣлиться, попадали то въ руку, то въ ногу, словомъ, это была поистинѣ мученическая смерть. На другой день комендантъ приказалъ похоронить умершихъ и, когда всѣ разошлись, онъ поклонился каждой могилѣ, прося прощенія. Мы узнали всѣ эти подробности отъ Соловьева и Мозгалевскаго, которыхъ перевели къ намъ. Это повергло насть въ глубокую печаль. Комендантъ возвратился мрачный и разстроенный, ему всюду видѣлись побѣги и пожары, и онъ торопился окончаніемъ постройки Петровской тюрьмы <sup>28</sup>.

Александрина, которая получала отъ своей свекрови тайкомъ много денегъ, то透过 посылаемаго къ ней слугу, то какимъ-либо другимъ способомъ, построила себѣ домъ недалеко отъ этой тюрьмы; инженеръ, строивший тюрьму, выстроилъ за богатый подарокъ и этотъ домъ. Такъ какъ намъ съ Каташой едва хватало на жизнь, то

мы и не думали объ этомъ, точно также какъ и другія дамы.

Чтобы дать вамъ понятіе о простотѣ нравовъ того времени и отвлечь ваше вниманіе отъ описанного мною выше трагического событія, я опишу вамъ одну прогулку, сдѣланную Нарышкиной и Енталыцовой, задолго до отъѣзда послѣдней въ Березовъ.

Однажды обѣ дамы отправились гулять и вышли за окопицу деревни; здѣсь, незамѣтно для себя, онѣ зашли довольно далеко и съ большимъ трудомъ достигли берега рѣки, отдѣлявшей ихъ отъ деревни, но моста здѣсь не было: какъ переправиться? Вода въ этомъ мѣстѣ была неглубока, но все же доходила до пояса. Онѣ замѣтили душегубку и деревенского священника, который собирался въ нее сѣсть; тогда онѣ попросили его перевезти ихъ черезъ рѣку; но сдѣлать это было невозможно: душегубка была такъ мала, что помѣститься въ ней втroeемъ было немыслимо. Енталыцева не захотѣла остаться одна; тогда священникъ предложилъ имъ обоимъ душегубку, а самъ, не долго думая, такъ подсучилъ свое нижнее платье, что напоминало Геркулеса съ повязкой на чреслахъ. Онѣ вошли въ воду и стали толкать передъ собой лодку; все это произошло такъ быстро, что наши дамы едва успѣли отвести глаза въ сторону при видѣ этого зрѣлища.

Петровская тюрьма была закончена, и комендантъ приказалъ заключеннымъ готовиться къ отѣзду. Это переселеніе совершилось пѣшкомъ, въ августѣ; дѣлали ежедневно по 30 верстъ, а на другой день отдыхали—то въ деревняхъ, то въ бурятскихъ юртахъ. Александрина и двѣ другія дамы отправились впередъ, Нарышкина, фонъ-Визина и я слѣдовали за партией въ нѣсколькихъ часахъ разстоянія. Привалъ сдѣлали въ 6 верстахъ отъ города Верхнеудинска. Недалеко отъ этого города госпожа Розенъ встрѣтила своего мужа. Это была прекрасная женщина, слегка методичная. Она прожила съ нами въ Петровскѣ только одинъ годъ и уѣхала затѣмъ съ му-

жемъ на поселеніе въ Тобольскую губернію<sup>29</sup>. Какъ разъ въ это время къ намъ прїехала Юшневская. Эта старая женщинаѣхала изъ Москвы цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ, повсюду останавливаясь и находя въ каждомъ городѣ знакомыхъ; въ честь ея устраивались вечера, катанья на лодкахъ; наконецъ, достаточно повеселившись, она узнаетъ, что госпожа Розенъ уже въ Верхнеудинскѣ,—тотчасъ начинаетъ она почтовую телѣгу, мчится, какъ молнія, мимо всей партіи и останавливается у крестьянской избы, гдѣ ее ожидалъ мужъ. Ей было 44 года, совсѣмъ сѣдая, она сумѣла сохранить въ себѣ юношескую живость<sup>30</sup>.

Затѣмъ мы продолжали путь. На послѣдней станціи передъ Петровскомъ мы встрѣтили коменданта, который передалъ намъ письма изъ Россіи и газеты. Тутъ мы узнали обѣ іюльской революціи; всю ночь среди заключенныхъ раздавались пѣсни и крики ура. Часовые ничего не понимали: какъ это люди могутъ заниматься пѣніемъ, когда впереди ихъ ожидаютъ казематы? Да это и понятно: они вѣдь ничего не смыслили въ политикѣ.

#### ПЕТРОВСКІЙ ЗАВОДЪ.

Подѣзжая къ Петровску, я увидѣла огромную тюрьму въ видѣ подковы съ красной крышей. Видъ ея былъ мрачный: наружу не выходило ни одного окна, такъ что насы совсѣмъ не обманули, сказать, что тюрьма была безъ оконъ. Я забыла вамъ сказать, что изъ Читы всѣ дамы писали графу Бенкendorфу (шефу жандармовъ), прося разрѣшенія жить въ тюрьмѣ, — это намъ было позволено.

Такъ какъ домъ Александрины былъ готовъ, то она поселилась тамъ, но всѣ остальные дамы устроились на нѣсколько дней въ камерахъ своихъ мужей. Я купила маленькую крестьянскую избушку для моего человѣка и служанки. Я ходила туда одѣваться, мыться и доставляла себѣ удовольствіе проводить ночи подъ тюремными затворами; увѣряю васъ, очень страшно слы-.

шать шумъ тюремныхъ замковъ; только черезъ годъ разрѣшили семейнымъ ссылымъ жить внѣ тюрьмы. Самое ужасное въ камерахъ было отсутствіе оконъ: цѣлый день у насъ горѣлъ огонь, что очень утомляло зѣніе.

Каждая изъ насъ, какъ могла лучше, устроила съ ою тюрему. Въ нашей камерѣ я обтянула стѣны шелковой матеріей (мои бывшія занавѣси, присланная изъ Россіи); у меня были здѣсь клавикорды, шкафъ съ книгами, два диванчика,—словомъ, было почти элегантно. Мы написали графу Бенкендорфу, прося разрѣшенія сдѣлать въ камерахъ окна; это намъ было позволено, но нашъ старый комендантъ, трусливый болѣе чѣмъ когда-либо, вздумалъ устроить ихъ совсѣмъ высоко, подъ самыемъ потолкомъ. Мы жили уже въ своихъ домахъ, когда пришло это разрѣшеніе. Заключенные устроили возвышенія у оконъ, чтобы можно было читать.

Нашъ дамскій кружокъ увеличился съ пріѣздомъ Камиллы Ле-Дантю, невѣсты М. Ивашева; она была дочерью ихъ гувернантки, и женихъ зналъ ее еще дѣвочкой. Это было прелестнѣе созданіе во всѣхъ отношеніяхъ и для Ивашева было большое счастье жениться на ней. Эта свадьба состоялась при обстановкѣ менѣе мрачной, чѣмъ свадьба Анненковой: женихъ былъ безъ кандаловъ и прибыль съ большой торжественностью со своими шаферами (хотя и въ сопровожденіи солдатъ, но безъ оружія). Я была посаженой матерью молодыхъ, всѣ дамы провожали ихъ въ церковь; мы пили чай у новобрачныхъ, а на другой день у нихъ обѣдали<sup>31</sup>. Постепенно мы начали возвращаться къ обычнымъ условіямъ нашей жизни, на кухнѣ мы больше не работали, такъ какъ для этого у насъ была прислуга, но солдатъ всегда находился при насъ и долженъ былъ вездѣ сопровождать заключенного, куда бы онъ ни шелъ, чтобы тотъ не забывалъ, что онъ узникъ. То же самое было и со всѣми семействами.

Въ этомъ 1832 году явился ты на свѣтъ, мой обожаемый Миша, на радость и счастье твоихъ родителей. Я



Прастовая Егоровна Анненкова.



Камилла Петровна Ивашева.

была твоей кормилицей, нянькой и отчасти твоей учительницей, и когда, нѣсколько лѣтъ спустя, Богъ далъ мнѣ Нелли, твою сестру, счастье мое было полное. Мои мысли принадлежали только вамъ, я почти не посѣщала своихъ подругъ. Эта безумная, заполняющая собою каждую минуту, любовь принадлежала вамъ обоимъ.

Спустя шесть мѣсяцевъ послѣ твоего рожденія, заболѣла Александрина Муравьева. Вольфъ не выходилъ изъ ея комнаты. Онъ сдѣлалъ все, что было въ его силахъ, чтобы спасти ее, но Богъ судилъ иначе. Ея послѣднія минуты были прекрасны: она продиктовала прощальная письма своимъ роднымъ и, не желая будить свою четырехлѣтнюю малютку «Ноно», потребовала ея куклу и поцѣловала вмѣсто нея. Исполнивъ свой христіанскій долгъ, какъ святая, она занялась исключительно своимъ мужемъ, утѣшая и ободряя его. Она умерла на своемъ посту, и эта смерть повергла насъ въ уныніе и глубокую скорбь. Каждая говорила себѣ: «Что ждеть безъ меня моихъ дѣтей?»

Такъ начался въ Петровскѣ длинный рядъ лѣтъ, не принося съ собой никакой перемѣны въ нашей судьбѣ. Заключенные, срокъ которыхъ кончался, уѣзжали, увозя съ собой сожалѣнія о тѣхъ, которые оставались. Нѣкоторыя дамы тоже уѣхали: Фонъ-Визина, Розенъ, Нарышкина и Ившева. Эта послѣдняя тоже умерла на поселеніи, будучи еще очень молодой, мужъ ея въ скорости послѣдовалъ за ней, и ея мать, прѣѣзжавшая повидаться съ ними, увезла сиротъ съ собой въ Россію.

Часы, свободные отъ казенныхъ работъ, заключенные проводили въ научныхъ занятіяхъ, чтеніи, рисованіи. Н. Бестужевъ составилъ цѣлую галлерею портретовъ своихъ товарищей. Онъ занимался также механикой, дѣлалъ часы и кольца. Каждая изъ насъ скоро имѣла по кольцу, сдѣланному изъ желѣза отъ кандаловъ ея мужа. Торсонъ дѣлалъ модели мельницъ и молотилокъ; другіе столярничали, посыпали намъ рабочіе столики и чайные ящики. Князь Одоевскій занимался поэзіей; онъ писалъ преле-

стные стихи; между прочимъ, онъ написалъ стихотворение, воспоминаніе о томъ, какъ мы, дамы, приходили къ оградѣ и приносили узникамъ письма и извѣстія.

«Былъ край, слезамъ и скорби посвященный—  
Восточный край, гдѣ розовыхъ зарей  
Лучъ радостный, на небѣ тамъ рожденный,  
Не услаждалъ страдальческихъ очей;  
Гдѣ душенья былъ и воздухъ, вѣчно-ясный,  
И узникамъ кровь свѣтлый докучалъ,  
И весь обзоръ обширный и прекрасный  
Мучительно на волю вызывалъ.

\* \* \*

Вдругъ ангелы съ лазури низлетѣли  
Съ отрадою къ страдальцамъ той страны,  
Но прежде свой небесный духъ одѣли  
Въ прозрачныя земныя пелены,  
И вѣстники благіе Провидѣнья  
Явилися, какъ дочери земли,  
И узникамъ съ улыбкой утѣшенья  
Любовь и миръ душевный принесли.

\* \* \*

И каждый день садились у ограды,  
И сквозь нее небесная уста  
По капѣ имъ точили медъ отрады.  
Съ тѣхъ поръ лились въ темницѣ дни, лѣта,  
Въ затворникахъ печали вѣй уснули,  
И лишь они страшились одного,—  
Чтобъ ангелы на небо не вспорхнули,  
Не сбросили бѣ покрова своего.

Бѣдный Одоевскій, окончивъ свой срокъ каторжныхъ работъ, уѣхалъ на поселеніе недалеко отъ города Иркутска; потомъ его отецъ выхлопоталъ ему, какъ ми- лости, перевода простымъ солдатомъ на Кавказъ, гдѣ онъ скоро и умеръ въ вылазкѣ противъ черкесовъ.

Тюрьма мало-по-малу пустѣла; по окончаніи срока заключенныхъ увозили разселяли по Сибири какъ поселенцевъ. Эта жизнь безъ семьи, безъ друзей, безъ всякоаго общества была тяжелѣе, чѣмъ первоначальное заключеніе.

Наконецъ, настала и наша очередь: Вольфъ, Никита

и Александръ Муравьевы и мы выѣхали одни за другими, чтобы на почтовыхъ станціяхъ не оставаться безъ лошадей. Мой мужъ заранѣе просилъ, чтобы его поселили вмѣстѣ съ Вольфомъ,—докторомъ и его старымъ товарищемъ по службѣ, я тоже этого очень хотѣла, желая обезпечить своимъ дѣтямъ совѣты этого прекраснаго врача; что же касается мѣста, куда забросить нась судьба, мы совсѣмъ не беспокоились, и Господь скажился надъ нами: мы были отправлены на поселеніе въ Урикъ—недалеко отъ Иркутска, столицы Восточной Сибири; это была довольно убогая деревушка, но со сноснымъ климатомъ. Мнѣ все казалось хорошо, лишь бы былъ въ случаѣ надобности хорошій врачъ для моихъ дѣтей <sup>32</sup>.

Въ этой же деревнѣ жиль и Михаиль Лунинъ, старый товарищъ моего мужа. Не найдя крестьянской избы, пригодной для жилья, такъ какъ всѣ онъ были заняты другими поселенцами, мы отправились за 8 верстъ отсюда къ моему родственнику Поджю, который только за годъ передъ этимъ былъ привезенъ изъ Шлиссельбургской крѣпости; онъ былъ счастливъ нашему пріѣзду и принялъ нась съ распластанными объятіями, тѣмъ болѣе, что онъ вынесъ восемь съ половиной лѣтъ одиночного заключенія въ этой ужасной тюрьмѣ. Въ продолженіе всѣхъ этихъ долгихъ лѣтъ онъ видѣлъ только своего тюремнаго сторожа да изрѣдка коменданта. Онъ былъ въполномъ невѣдѣніи относительно того, что происходило за стѣнами тюрьмы, его никогда не выпускали на воздухъ и когда онъ спрашивалъ у часового: «какой сегодня день?» тогдѣ ему отвѣчали: «не знаю». Онъничегоне зналъ ни о Польскомъ восстанії, ни объ Іюльской революціи, ни о войнахъ съ Персіей и Турцией, ни даже о холерѣ; его часовой умеръ внезапно у его дверей, а онъ и не подозрѣвалъ объ эпидеміи.

Однажды вечеромъ онъ увидѣлъ отраженіе луннаго свѣта на наружной стѣнѣ тюрьмы и ему захотѣлось полюбоваться имъ; онъ влѣзъ къ окну и съ большимъ трудомъ просунулъ голову въ маленькую форточку, съ во-

сторгомъ дыша свѣжимъ воздухомъ и любуясь звѣзднымъ небомъ. Вдругъ онъ слышитъ въ коридорѣ шаги: боясь, какъ бы его не застали въ такомъ положеніи, онъ тащить голову обратно, но уши ему мѣшаютъ; наконецъ, послѣ долгихъ усилий и весь исцарапанный, ему удалось вытащить голову, но съ тѣхъ поръ онъ оставилъ подобныя попытки. У него въ тюрьмѣ была такая сырость, что все его платье было пропитано ею, табакъ покрывался плѣсенью; здоровье же было такъ расшатано, что у него выпали всѣ зубы, но онъ просидѣлъ въ одиночной тюрьмѣ только 8 лѣтъ, тогда какъ несчастный Батенковъ былъ въ заключеніи болѣе 20 лѣтъ, не видя никого, даже коменданта. Онъ разучился говорить и, чтобы не лишиться разсудка, читалъ и перечитывалъ Библію, поставивъ себѣ за правило переводить ее мысленно на разные языки: сначала на русскій, на слѣдующій годъ на французскій, затѣмъ на латинскій. По выходѣ изъ тюрьмы оказалось, что онъ совсѣмъ разучился говорить,—ничего нельзя было понять изъ того, что онъ хотѣлъ сказать, даже его письма были непонятны. Способность рѣчи вернулась къ нему мало-по-малу. Тѣмъ не менѣе онъ сохранилъ свое душевное спокойствіе, бодрость духа и необыкновенную доброту; прибавьте сюда силу характера, которую вы въ немъ знаете, и вы поймете, что это былъ за удивительный человѣкъ <sup>33</sup>.

Наша свобода на поселеніи была ограничена: мужчины могли гулять и охотиться въ окрестностяхъ, а дамы—ѣздить въ городъ за покупками. Наші средства были еще болѣе урѣзаны, чѣмъ въ тюрьмѣ. Я получала въ Петровскѣ десять тысячъ рублей ассигнаціями, между тѣмъ какъ въ Урикѣ мнѣ выдавали всего двѣ тысячи. Дабы пополнить это ограниченіе, наши родственники присылали намъ сахаръ, чай, кофе и всякаго рода провизію, а также и одежду.

Никита Муравьевъ проводилъ время въ занятіяхъ и чтеніи. Его мать переслала ему постепенно всю его би-

блютеку: воспитаніе дочери было самымъ любимымъ его занятіемъ.

Лунинъ вѣль уединенную жизнь. Будучи страстнымъ охотникомъ, онъ все лѣто проводилъ въ лѣсахъ и только зимой жилъ дома. Онъ много писалъ, забавляясь тѣмъ, что въ письмахъ къ своей сестрѣ высмѣивалъ правительство. Наконецъ, онъ написалъ свои комментаріи по поводу приговора надъ участниками Польскаго восстанія. Дѣло всплыло наружу, и вотъ однажды, въ полночь, являются двѣнадцать жандармовъ и окружаютъ его домъ, нѣсколько чиновниковъ входятъ, чтобы его взять; Лунинъ, возвратившись съ охоты, крѣпко спалъ, они же не постыдились его разбудить, но при видѣ висѣвшихъ на стѣнѣ ружей и пистолетовъ смущились и одинъ изъ нихъ не могъ не высказать своего страха. Тогда Лунинъ, обращаясь къ находившемуся возлѣ него жандарму, сказалъ: «Не беспокойтесь, такихъ людей бывать, а не убиваютъ». Ему принадлежитъ также слѣдующая выходка. Во время его пребыванія еще въ Финляндской крѣпости, въ тюрьму явился по обязанностямъ службы генераль-губернаторъ Закревскій и спросилъ его: «Не желаете ли заявить какихъ-либо претензій?» Тюрьма была ужасная, потолокъ былъ такъ плохъ, что когда шелъ дождь, вода протекала. Лунинъ отвѣтилъ ему съ улыбкой: «Я вполнѣ доволенъ всѣмъ, мнѣ не хватаетъ только зонтика».

Лунинъ былъ увезенъ всей этой военной свитой, явившейся за однимъ человѣкомъ, и заключенъ въ Акатуй—самой ужасной тюрьмѣ, где содержались преступники-рецидивисты, совершившие убийства и грабежи. Онъ не могъ долго выносить зараженный и сырой воздухъ этой тюрьмы и умеръ здѣсь спустя четыре года. Это былъ человѣкъ большой силы воли, необыкновенного ума, веселаго нрава, безграничной доброты и глубоко-религіозный. Его отъездъ насъ сильно опечалилъ; я отправила ему книги, шоколада для груди и подъ видомъ лекарствъ черниль въ видѣ порошка, а въ немъ нѣсколько стальныхъ перьевъ, такъ какъ у него было все отнято, причемъ

строго было запрещено писать или читать что-либо, кроме библій <sup>34</sup>.

Я забыла упомянуть, что мы уже давно переселились въ Урикъ, такъ какъ постройка нашего дома продолжалась всего нѣсколько времени. Къ намъ прїѣзжали изъ города, чтобы посовѣтоваться съ докторомъ Вольфомъ и дѣлали это тѣмъ охотнѣе, что онъ отказывался отъ всякаго вознагражденія.

Вскорѣ мы были страшны напуганы слухомъ, будто наши дѣти будутъ у насъ отняты по повелѣнію Его Величества. Генераль-губернаторъ Рупертъ прислалъ однажды за моимъ мужемъ, Никитой Муравьевымъ, Трубецкимъ, который жилъ въ деревнѣ въ 30-ти верстахъ отъ насъ, и за всѣми тѣми, кто былъ женатъ. Я тотчасъ же поняла, что дѣло касалось нашихъ дѣтей. Мужчины отправились; невозможно передать тѣ мученія и страданія, которыхъ я перенесла, пока они не вернулись. Наконецъ, они возвратились и мужъ, выходя изъ повозки, сказалъ мнѣ: «Твое предчувствіе тебя не обмануло, дѣло касается дѣтей: ихъ хотятъ увезти въ Россію, отнять у нихъ ихъ фамилію и помѣстить въ казеннія учебныя заведенія». — «Но сказано ли въ приказѣ, чтобы взять ихъ силою?» — «Нѣть, Государь только велѣлъ предложить это ихъ матерямъ». Услышавъ это, я успокоилась; мое сердце снова наполнилось радостью. Я схватила вѣсъ въ свои объятія и стала душить поцѣлуями. «Нѣть, мы не разстанемся, вы не отречетесь отъ имени вашего отца». Однако, вѣсъ отецъ колебался въ своемъ отказѣ, думая, что онъ не имѣеть права помѣшать вамъ возвратиться въ Россію, но это происходило лишь отъ избытка чувствъ къ вамъ. Онъ согласился на мои настоятельныя просбы и убѣжденія, что, напротивъ, когда-нибудь вы могли бы упрекнуть насъ въ томъ, что мы безъ вашего на то согласія лишили васъ вашего имени. Итакъ, снова воцарилось общее спокойствіе, потому что и товарищи Сергѣя тоже послали отказъ генераль-губернатору. Этотъ злой человѣкъ, лишь изъ желанія показать свое усердіе къ службѣ, донесъ

Его Величеству, что государственные преступники до того закоренѣли въ своихъ преступленіяхъ, что вмѣсто благодарности Его Величеству за его отеческое предложеніе, отнеслись къ нему съ высокомѣріемъ. На самомъ же дѣлѣ нашъ отказъ былъ выраженъ въ самой деликатной формѣ, такъ какъ мы понимали, что, дѣйствительно, лишь движимый добрымъ чувствомъ, Государь предложилъ намъ воспитать нашихъ дѣтей на свой счетъ, хотя и съ ограничіями, вполнѣ выражавшими его взглядъ на вещи <sup>35</sup>.

Спустя пять лѣтъ моему Мишѣ исполнилось 12 лѣтъ. Я постаралась окружить его всѣмъ, что было необходимо для его образованія. Я пригласила въ домъ, между прочимъ, господина Сабинскаго, сосланнаго поляка, прекрасно владѣвшаго французскимъ языкамъ и отдававшаго Мишѣ все время безъ малѣйшаго вознагражденія <sup>36</sup>. Я обратилась съ просьбой разрѣшить мнѣ перѣѣхать въ Иркутскъ, чтобы дать возможность Мишѣ пройти курсъ гимназического образованія. Графъ Орловъ выхлопоталъ мнѣ это разрѣшеніе, и я поселилась въ городѣ. Два раза въ недѣлю мужу было разрѣшено прїѣзжать къ намъ, а нѣсколько мѣсяцевъ спустя и совсѣмъ переселиться въ Иркутскъ.

Другіе ссылочные тоже получили разрѣшеніе, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые были поселены недалеко отъ Иркутска. Такъ прошло еще 19 лѣтъ, изъ которыхъ послѣдніе восемь никогда не изгладятся изъ моего благодарнаго сердца: генераль-губернаторомъ былъ уже не Рупертъ, а Николай Муравьевъ — честнѣйшій и даровитѣйшій человѣкъ. Онъ открылъ для Россіи пользованіе Тихимъ океаномъ въ то время, когда французы и англичане отняли у насъ Черное море. Какъ онъ самъ, такъ и его достойная, прекрасная жена относились къ намъ превосходно. Онъ развивалъ въ тебѣ, Миша, духовныя способности для служенія отечеству и направлялъ тебя на пути терпѣнія и умственного труда.

Въ годъ коронованія Императора Александра II мы были всѣ возвращены изъ ссылки, но увы! изъ 121 члена

Тайного Общества осталось въ живыхъ всего 12 или 15 человѣкъ: остальные умерли или были убиты на Кавказѣ.

Отецъ вашъ, по возвращеніи на родину, былъ встрѣченъ, какъ вы знаете, сердечно, а нѣкоторыми—даже съ восторгомъ.

Бѣдная Катарина умерла за годъ передъ тѣмъ; ее глубоко сожалѣли ея дѣти, друзья и всѣ тѣ, кому она дѣлала добро.

Вашъ отецъ, благороднѣйшій изъ людей, никогда не питалъ злопамятнаго чувства по отношенію къ Императору Николаю, напротивъ, — онъ отдавалъ справедливость его хорошимъ качествамъ, твердости его характера, хладнокровію, проявленному имъ во многихъ обстоятельствахъ жизни; во всякой другой странѣ, говорилъ онъ, онъ также бы былъ подвергнутъ строгому наказанію. На это я ему отвѣчала, что наказаніе не было бы такимъ суровымъ, такъ какъ не приговариваются человѣка къ каторжнымъ работамъ, къ одиночному заключенію и къ 30 годамъ ссылки только за его политическія убѣжденія и за то, что онъ былъ членомъ тайного общества: вашъ отецъ не принималъ участія ни въ какомъ восстанії, а если даже въ своихъ собраніяхъ они и говорили о перемѣнѣ образа правленія, то все-таки надо было считаться не со словами, а съ дѣйствіями. Теперь въ Петербургѣ и Москвѣ всюду говорятся гораздо болѣе серьезныя вещи, и все-таки никого за это не арестовываютъ. И если бы мнѣ было позволено высказать свое мнѣніе о событии 14 декабря и о восстаниіи полка Сергея Муравьева, я бы сказала, что это было несвоевременно: нельзя поднимать знамя свободы, не имѣя за собой сочувствія ни солдатъ, ни народа, который ничего въ этомъ еще не понимаетъ. И въ будущемъ оба эти возмущенія будутъ рассматриваться не иначе, какъ совершенно отдѣльныя, ничѣмъ не связанныя другъ съ другомъ, события.

MÉMOIRES  
de  
La Princesse Marie Wolkonsky.

---

Господь рѣшить окованныя...  
Господь возводить низверженныя...  
(Пс. 145 и 144).

Micha мой, tu m'engages à mettre par écrit les récits dont je berçais ton enfance et celle de Nelly, à faire mes mémoires en un mot. Il faut commencer par savoir écrire avant de s'arroger le droit de le faire, or ce talent ne m'appartient pas, et puis notre existence de Sibérie ne peut offrir d'intérêt qu'à un enfant de l'exil comme toi; je le ferai donc pour toi, pour ta soeur et pour Serge, sous la condition expresse de ne les communiquer à personne, hors tes enfants quand tu en auras, qui ouvriront de grands yeux, se serreront contre toi en écoutant le récit de nos privations et de nos souffrances, auxquelles cependant nous nous sommes si bien habitués, que nous avons trouvé moyen d'être gais et même heureux en exil.

J'abrégerai ce qui vous charmait tant dans votre enfance, le récit du bonheur que j'avais goûté sous le toit paternel, celui de mes voyages, de ma part de joie et de plaisir dans ce monde. Je vous dirai seulement que c'est l'année 1825 que j'ai été mariée au Prince Serge Wolkonsky, votre père, le plus digne et le plus respectable des hommes; mes parents croyaient m'avoir assuré un sort brillant selon le monde.— J'étais triste de les quitter: on dirait qu'à travers mon voile de mariée j'apercevais vaguement le sort qui nous attendait. Peu après, étant tombée malade, on m'envoya avec Maman, ma soeur Sophie et mon anglaise, à Odessa pour les bains de mer. Serge ne pouvait nous accompagner, devant rester dans sa division pour affaires de service. Je ne le connaissais presque pas avant mon mariage. Je restai tout l'été à Odessa, de sorte que je n'ai passé que trois mois de cette

première année avec lui; je ne me suis jamais douté de l'existence de la Société secrète dont il était membre. Il avait près de vingt ans de plus que moi, par là même ne pouvait avoir dans un cas aussi grave sa confiance en moi.

Il vint me chercher vers la fin de l'automne, m'emmena à Oumane où se trouvait sa division et partit pour Toulouchine, quartier général de la seconde armée. Au bout d'une semaine, il revint au milieu de la nuit: je suis réveillée en sursaut, il m'appelle: «Вставай скорѣй». Je me lève toute tremblante. J'étais avancée dans ma grossesse, et ce retour bruyant m'avait effrayée. Je le vois faisant faire un grand feu de cheminée pour y brûler des papiers. Je l'aidais de mon mieux tout en lui demandant ce que cela voulait dire.—«Pestel est arrêté! — «Pourquoi? — Pas de réponse. Tout ce mystère m'inquiétait. Je le voyais triste, préoccupé. Enfin il me dit avoir promis à mon père de m'emmener chez lui pour y faire mes couches. Et nous voilà en route pour les biens de papa; il m'y confia aux soins de ma mère et repartit de suite; à peine rentré chez lui, il fut arrêté et emmené à Pétersbourg. C'est ainsi que se passa la première année de notre mariage, elle n'était pas révolue encore, que Serge était déjà sous les verrous de la forteresse au ravelin Alexis.

Mes couches furent très pénibles, sans sage-femme (elle n'est arrivée que le lendemain). Papa insistait pour que je me misse sur un fauteuil; Maman, avec son expérience de mère de famille, me disait de me mettre au lit de peur de prendre froid. Les voilà qui se disputent, et moi de souffrir. Enfin, comme toujours, la volonté de l'homme prévalut; on m'installa dans un grand fauteuil, pour y souffrir mort et martyre sans aucun secours de l'art. Notre médecin était absent chez un malade à 15 verstes de nous; une paysanne du village se disant sage-femme était venue, mais n'osant m'approcher elle se tenait à genoux, dans un coin de la chambre, priant pour moi. Enfin le docteur arriva vers le matin, et je mis au monde mon petit Nicolas, dont plus tard j'ai dû me séparer à jamais. J'eus la force d'aller nu-pieds

jusqu'à mon lit qui était froid et me parut glacé, et l'instant d'après, une fièvre violente me saisit, fièvre cérébrale qui me fit garder le lit pendant 2 mois. Quand je revenais à moi, je demandais des nouvelles de mon mari, on me répondait qu'il était en Moldavie, tandis qu'il se trouvait déjà au secret et subissait toutes les tortures morales d'une enquête. On l'avait emmené d'abord, comme tous les autres, et conduit en présence de l'Empereur Nicolas qui s'était précipité vers lui en le menaçant du doigt et en l'injuriant, se fâchant de ce qu'il ne voulait nommer aucun de ses camarades. Plus tard, comme il persistait dans ce mutisme vis-à-vis des juges d'instruction, Tchernicheff, ministre de la guerre, lui dit: «Ayez honte, prince: de petits officiers en disent plus que vous» (Стыдитесь, князь, прaporщики больше васъ показываютъ). Du reste tous étaient connus: les faux-frères Chervoed, Maïboroda et.... avaient livré la liste des membres de la Société secrète, en suite de quoi les arrestations avaient commencé. Je n'ai pas la présomption d'écrire l'histoire de ces temps-là, ces événements sont trop récents et de trop haute portée pour moi; d'autres le feront, et c'est à la postérité de juger cet élan de patriotisme pur et désintéressé. L'histoire de Russie n'a présenté jusqu'ici que des conspirations de palais, favorisées par ceux qui y trouvaient leur intérêt.

Un beau matin je rassemblai mes idées et me dis: «Cette absence de mon mari n'est pas naturelle, je n'ai pas de lettres de lui». J'insiste pour savoir la vérité, on me dit que Serge est arrêté, ainsi que B. Davidoff, Lihareff et Poggio. Je déclare à Maman que je vais à Pétersbourg; papa y était déjà, tout est prêt pour le lendemain, et au moment de me lever je sens une forte douleur à la jambe; j'envoie vite chercher la bonne femme qui avait si bien prié le bon Dieu pour moi; elle me dit que c'est un érysipèle, m'entortille le pied de drap rouge et de craie, et me voilà partie avec ma bonne soeur et mon enfant, que je laisse en passant chez la comtesse Branicka, une tante à papa. Elle avait de bons médecins et vivait en riche et puissante châtelaine.

C'était au mois d'Avril. Des chemins impraticables. J'allais nuit et jour, et j'arrivai enfin chez ma belle-mère, dame de Cour s'il en fut. Personne pour me donner un conseil: mon frère Alexandre, qui prévoyait l'issue de l'affaire, mon père, qu'il redoutait, m'avaient circonvenue entièrement. Alexandre le faisait avec tant de ruse que je ne l'ai compris que bien plus tard, en Sibérie, lorsque mes compagnes me dirent qu'elles trouvaient ma porte toujours fermée lorsqu'elles venaient me voir à Pétersbourg. Il craignait leur influence sur moi, et malgré ses précautions j'ai été la première avec Catache Troubetskoy dans les mines de Nertchinsk.

J'étais bien malade encore et d'une grande faiblesse. J'obtins la permission d'aller voir mon mari à la forteresse. L'Empereur, qui saisissait toutes les occasions pour faire preuve de grandeur d'âme (dans les petites choses), me sachant si faible, ordonna que je fusse accompagnée d'un médecin, craignant tout saisissement pour moi. Le comte Alexis Orloff me conduisit lui-même à la forteresse. En approchant de cette prison redoutable, je levais les yeux, et pendant que l'on ouvrait les portes cochères je vis un appartement au-dessus de l'entrée avec de grandes fenêtres ouvertes, et Michel Orloff en robe de chambre, tenant une pipe, souriant et examinant ceux qui arrivaient.

Nous descendîmes chez le commandant; l'instant d'après, mon mari fut amené sous escorte. Cette entrevue devant témoins fut bien pénible, nous nous donnions du courage mutuellement, sans conviction intime. Je n'osais le questionner: tous les regards étaient fixés sur nous; il changea de mouchoir avec moi. En rentrant je m'empressai de voir ce qu'il y avait mis, et ne trouvai rien que quelques mots de consolation presque indéchiffrables, écrits sur le coin du mouchoir.

Ma belle-mère me fit des questions sur son fils, ajoutant qu'elle ne pouvait se décider à aller le voir, que cette entrevue la tuerait, et elle partit le lendemain avec l'Impératrice-mère pour Moscou, où l'on commençait déjà les préparatifs pour la célébration du Couronnement. Ma belle-soeur Sophie Wolkonsky devait arriver sous peu: elle accompagnait le corps de euf

l'Impératrice Elisabeth, que l'on amenait à Pétersbourg. J'étais très impatiente de la connaître, cette soeur; mon mari l'adorait, j'espérais beaucoup de son arrivée. Mon frère entendait la chose autrement; il se mit à me donner des inquiétudes pour mon enfant, m'assurant que le procès durerait longtemps (ce qui du reste était vrai), qu'il fallait m'assurer par moi-même si le cher petit était bien soigné, et que je rencontrerais indubitablement la princesse en route. Ne soupçonnant rien, je me décidai à partir, avec l'idée de ramener mon enfant avec moi. Je passai par Moscou afin d'y voir ma soeur Orloff. Ma belle-mère y était déjà installée dans ses fonctions de dame d'honneur. Elle me dit que Sa Majesté désirait me voir, qu'elle s'intéressait beaucoup à moi. Je pensais que c'était pour me parler de mon mari, car, dans des circonstances aussi graves, je ne comprenais l'intérêt pour moi qu'autant qu'il concernait mon mari. Pas du tout: on me parle de ma santé, de celle de mon père, de la pluie et du beau temps...

Je me remis aussitôt en route. Mon frère avait arrangé les choses de manière que je me croisasse avec ma belle-soeur; elle qui était au fait de tout aurait pu m'instruire de la marche que prenait l'affaire. Je trouvai mon enfant assez pâle et chétif; on le fit vacciner, il tomba malade. Je ne recevais aucune nouvelle, l'on ne me remettait que les lettres les plus insignifiantes, les autres étaient détruites. J'attendais avec impatience le moment de partir; enfin mon frère m'apporta les journaux; et m'apprend la condamnation de mon mari. Il avait été dégradé avec ses camarades sur le glacis de la forteresse. Voici comment la chose s'était passée. C'était au petit jour, le 13 Juillet; on les rassembla tous pour les placer par catégories sur le glacis, en face de 5 potences. Serge, à peine arrivé, mit bas son surtout d'uniforme et le jeta dans le bûcher, ne voulant pas qu'on le lui arrachât. On avait dressé et allumé plusieurs bûchers pour consumer les uniformes et décorations de ces messieurs, ensuite on leur dit de se mettre tous à genoux, et des gendarmes venaient rompre une épée au-dessus de chaque tête en signe de dégradation; on s'y

prenait maladroitement: plusieurs de ces messieurs furent blessés à la tête. Ramenés en prison, ils ne reçurent plus leur nourriture habituelle, mais celle des forçats, ainsi que le costume: une veste et des pantalons de gros drap gris.

Cette scène fut suivie d'une autre bien plus cruelle, à voir. Les cinq condamnés à mort furent amenés. Pestel, Serge Mouravieff, Riléiéff, Bestougeff-Rumine (Michel) et Kahovsky furent exécutés, mais avec une maladresse affreuse: trois d'entre eux tombèrent et furent trainés de nouveau au pied de l'échafaud. Serge Mouravieff ne voulut pas être soutenu, Riléiéff recouvrit la parole et dit: «Je suis heureux de mourir deux fois pour ma patrie.» Leurs corps furent mis dans deux grandes caisses remplies de chaux vive, et enterrés au Голодаевъ островъ. Une sentinelle en défendait l'approche. Je ne puis dépeindre cette scène, elle me bouleverse, elle me rend malade. Je ne me charge pas de la décrire. Le général Tchernicheff (qui fut fait comte et prince depuis) caracolait autour des cinq échafauds, lorgnant les cinq victimes et ricanant.

Mon mari fut privé de ses titres, biens, droits, condamné à 20 ans de travaux forcés et à l'exil perpétuel. Il fut expédié le 26 Juillet en Sibérie avec les princes Troubetskoy et Obolensky, Davidoff, Artamon Mouravieff, les frères Borissoff et Yakoubovitch. Quand mon frère me l'apprit, je déclarai que j'allais le rejoindre; mon frère, devant aller à Odessa, me dit de ne pas bouger jusqu'à son retour, mais dès le lendemain de son départ, je pris un passeport et partis pour Pétersbourg. On me boudait dans la famille de mon mari parce que je n'avais pas répondu à leurs lettres. Je ne pouvais pas leur dire que mon frère les avait interceptées. On me disait des choses blessantes, mais pas un mot d'argent. Je ne pouvais leur dire non plus tout ce que je souffrais de la part de mon père, qui ne voulait pas me laisser partir. J'engageai mes diamants, je payai quelques dettes de mon mari et écrivis une lettre à l'Empereur pour obtenir la permission d'aller le rejoindre. J'appuyais sur l'intérêt que Sa Majesté avait témoigné à toutes les femmes

d'exilés, et le priais de mettre le comble à ses bontés en me permettant de partir. Voici sa réponse:

«J'ai reçu, Princesse, la lettre que vous m'avez écrite du 15 de ce mois, j'y ai vu avec plaisir l'expression des sentiments que vous me témoignez pour l'intérêt que je vous porte, mais c'est à cause de cet intérêt même que je prends à vous que je crois devoir renouveler ici les avertissements que je vous ai déjà communiqués sur ce qui vous attend une fois passé Irkoutsk. Au reste, j'abandonne entièrement à votre propre conviction, Madame, de vous décider à tel parti que vous jugerez le plus convenable dans votre situation.

Votre affectionnée  
(Signé) Nicolas».

1826  
le 21 Décembre.

Ici je dois vous raconter une scène dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Mon père était sombre, inabordable. Il fallait cependant lui dire que j'allais le quitter et que je le nommais tuteur de mon pauvre enfant, que l'on ne me permettait pas d'emmener. Je lui communiquai la réponse de Sa Majesté, alors mon pauvre père, ne se possédant plus, lève ses deux poings au-dessus de ma tête et s'écrie: «Je te maudis si tu ne reviens pas dans un an». Je ne répondis rien, je me jetai sur une couchette, j'enfonçai mon visage dans un coussin qui se trouvait là.

Mon père, ce héros de l'année 1812, ce caractère si ferme, si élevé, ce patriote, qui voyant ses troupes faiblir à Dashkovka, saisit ses deux enfants, des adolescents encore, et se précipite dans le feu des ennemis—avait le cœur le plus tendre en famille; il ne pouvait supporter l'idée de mon exil, mon départ lui semblait quelque chose d'atroce.

Mon beau-frère, le prince Pierre Wolkonsky, ministre de la Maison de l'Empereur, vint me prendre dans sa voiture pour diner avec lui; chemin faisant il me disait: «Etes-vous sûre de revenir?»—«Je ne le désire même pas, à moins que cela ne soit avec Serge, mais, au nom de Dieu, ne le dites

pas à mon père». Ces paroles me revinrent ensuite à l'esprit, et je compris le sens des assurances paternelles de la lettre de Sa Majesté. Je partis dans la nuit même, mes adieux avec papa furent muets: il me bénit et se détourna de moi, ne pouvant articuler une syllabe. Je me disais en le regardant: «C'est fini, je ne le reverrai plus, je suis morte pour ma famille». J'allai embrasser ma belle-mère, qui me fit remettre juste ce qu'il me fallait d'argent pour payer les chevaux jusqu'à Irkoutsk. J'avais fait acheter un kibitka, mes paquets se firent en un instant: c'était un peu de linge, trois robes et la capote ouatée que j'avais sur moi. Je gardai le restant de mon argent pour la Sibérie, je l'avais cousu dans mon habit. Au moment de partir, j'allai m'agenouiller auprès du berceau de mon enfant, je priai longtemps. Il avait passé la soirée à jouer auprès de moi avec l'empreinte du cachet de la lettre qui m'autorisait à partir, à le quitter à jamais. Ce grand placard de cire rouge lui plaisait. Je recommandai mon pauvre enfant aux soins de ma belle-mère et de mes belles-sœurs, je m'arrachai d'autrui de lui et je sortis.

A Moscou je m'arrêtai chez Zénéide Wolkonsky, ma troisième belle-sœur, qui m'accueillit avec une tendresse et une bonté que je n'ai jamais oubliées: elle me combla de soins et d'attentions. Elle était tout cœur et compassion pour moi: connaissant ma passion pour la musique, elle fit venir tout ce qu'il y avait de chanteurs italiens à Moscou et de jolis talents parmi les demoiselles. J'étais transportée d'admiration pour ce beau chant italien, et la pensée que je l'entendais pour la dernière fois m'exalta encore plus. J'avais pris froid en route, j'avais une extinction de voix complète, et tout ce que l'on chantait était des morceaux que j'avais le mieux étudiés: j'étais tourmentée de ne pouvoir y participer. Je leur disais: «Encore, encore, songez que je n'entendrai jamais plus de musique». Pouchkine, notre grand poète, était là, je le connaissais depuis longtemps. Il avait été accueilli par mon père lors des persécutions de l'Empereur Alexandre I contre lui pour des poésies jugées incendiaires. Papa s'intéressa à ce pauvre jeune homme doué d'un si

grand talent, et le prit dans le temps avec nous aux eaux du Caucase, sa santé étant fortement ébranlée. Pouchkine ne l'a jamais oublié: lié d'amitié avec mes frères, il nous portait à tous un sentiment de dévouement profond.

Comme poète, il croyait de son devoir d'être amoureux de toutes les jolies femmes et jeunes demoiselles qu'il rencontrait. Je me souviens que pendant ce voyage, non loin de Taganrog, j'étais en voiture avec Sophie, notre anglaise, une bonne russe, une demoiselle de compagnie. En apercevant la mer, nous fîmes arrêter, et voilà que toute la fournée sort du carrosse et se précipite pour la contempler. Elle était couverte de vagues, et ne me doutant pas que le poète nous suivait, je m'amusais à courir après la vague et à la fuir quand elle venait sur moi; elle finit par me baigner les pieds. Je me gardai bien de le dire et je rentrai en voiture. Pouchkine trouva ce tableau si gracieux qu'il en fit de charmants vers poétisant un jeu d'enfant; je n'avais que 15 ans alors:

Какъ я завидовалъ волнамъ,  
Бѣгущимъ бурной чередою  
Съ любовью лечь къ ея ногамъ!  
Какъ я желалъ тогда съ волнами  
Коснуться милыхъ ногъ устами!

Plus tard, dans le poème: «La Fontaine de Bachtchisarai», il dit:

... ея очи  
Яснѣе днѧ  
Темнѣе ночи.

Dans le fait il n'adorait que sa Muse, et prêtait de la poésie à tout ce qu'il voyait. Mais à l'époque de l'exil volontaire des femmes des détenus en Sibérie, il était plein d'enthousiasme réel: il voulait me confier son «Посланіе къ узникамъ» pour le remettre à ces Messieurs, mais je partis dans la nuit, il le confia à Alexandrine Mouravieff, et le voici:

«Во глубинъ сибирскихъ рудъ  
Храните гордое терпѣнье.  
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ  
И думъ высокое стремленье.

\* \* \*

Несчастью вѣрная сестра—  
Надежда въ мрачномъ подземельѣ  
Разбудить бодрость и веселье,  
Придетъ желанная пора.

\* \* \*

Любовь и дружество до васъ  
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,  
Какъ въ ваши каторжныя норы—  
Доходитъ мой свободный гласъ.

\* \* \*

Оковы тяжкія падутъ,  
Темницы рухнутъ, и свобода  
Васъ приметъ радостно у входа,  
И братья мечъ вамъ отدادутъ»

Réponse du prince Odoievsky, détenu politique, condamné aux travaux forcés:

Струнъ вѣщихъ пламенные звуки  
До слуха нашего дошли,  
Къ мечамъ рванулись наши руки  
И лишь оковы обрѣли.

\* \* \*

Но будь спокоенъ, Бардъ,—цѣпями,  
Своей судьбой гордимся мы,  
И за затворами тюрьмы  
Обѣть святой пребудеть съ нами.

\* \* \*

Нашъ скорбный трудъ не пропадетъ,  
Изъ искры возгорится пламя,  
И просвѣщенный нашъ народъ  
Сберется подъ святое знамя».

Pouchkine me disait: «J'ai le projet de faire un ouvrage sur Pougatcheff. J'irai sur les lieux, je passerai l'Oural, je pousserai plus loin et viendrai vous demander asile dans les mines de Nertchinsk». Il fit son bel ouvrage admiré de tous, mais il ne vint pas dans nos régions.

Ma soeur Orloff était venue pour me dire adieu à Moscou; son mari, l'un des chefs de la Société, était pour lors tranquillement établi à la campagne: le comte Orloff, son frère, l'avait sauvé, tant par les réponses qu'il lui faisait faire aux papiers qu'il recevait en prison, que par la faveur dont il jouissait auprès de Sa Majesté. Je faisais mille questions sur l'affaire à ma soeur, elle me répondait évasivement; ce qui me tourmentait le plus, c'était que j'avais lu dans l'imprimé de la condamnation que mon mari avait fabriqué un faux cachet pour ouvrir les paquets du Gouvernement. Je demandais à ma soeur les larmes aux yeux: «Est-il vrai que Serge ait été faussaire?» Elle me répondit que c'étaient des bêtises et tâcha de me calmer, mais ne m'expliqua rien; elle craignait probablement que je n'en parlasse avant mon départ, et m'a avoué que c'était pour sauver son mari que Serge avait ouvert, non pas un papier, mais une lettre, y étant presque autorisé par Kisséleff, auquel elle était adressée. Voici comment la chose s'est passée. L'année 1822 il y avait eu des désordres dans la 16 division commandée par Michel Orloff, dont l'entourage était peu prudent dans ses discours aux élèves des écoles, d'après la méthode de Lancastre, que Michel avait introduite en Russie. Toutes ces paroles imprudentes et intempestives se transmettaient aux sous-officiers et soldats, il en résulta un acte d'insubordination dont on fit un rapport à l'Empereur Alexandre I, qui ordonna de faire une enquête. Le général Kisséleff, chef d'Etat-Major de la 2<sup>e</sup> armée, était très lié avec Michel et Serge; devant partir pour l'étranger à cause de l'état de santé de sa femme, il dit à mon mari: «Je suis fâché de ne pouvoir rester quelques jours de plus. J'attends une lettre concernant l'affaire de Michel. Je vous l'aurais communiquée afin de le prévenir de ce qui arrive». Cette lettre fut remise dès le lendemain à mon mari qui en prit connaissance, la recacha avec le premier cachet venu et donna à Michel le moyen de préparer ses réponses. Ce trait, non seulement n'est point une action coupable, mais n'est pas même un abus de confiance, vu que Kisséleff tenait à en instruire Orloff.

Mais revenons à mon voyage; ma soeur, me voyant partir sans pelisse, s'en effraya, et, ôtant son manteau fourré de dessus ses épaules, elle le mit sur les miennes, de plus elle me donna des livres, des laines, des dessins. J'ai dû rester deux jours à Moscou, ne pouvant me refuser à voir les parents de nos exilés, qui m'apportaient des lettres pour eux et tant d'envois, que je dus prendre un second kibitka pour les emporter avec moi. Je quittai Moscou le cœur serré, mais non découragé. Je n'avais avec moi qu'un domestique et une femme de chambre prise la veille, которая все «по паспорту ходила» et s'est trouvée être fort peu recommandable. J'allais nuit et jour, ne m'arrêtant et ne dinant nulle part, je prenais tout simplement du thé là, où je trouvais le samovar tout prêt, l'on me donnait un morceau de pain ou de n'importe quoi en équipage, ou bien un verre de lait, et tout était fini. Je dépassai un jour une chaîne de forçats dans une forêt: ils étaient dans la neige jusqu'à la ceinture, le chemin d'hiver n'étant pas frayé encore; leurs figures étaient repoussantes de malpropreté et de misère. Je me disais: «Est-ce que Serge est aussi exténué, aussi barbu et les cheveux en désordre ?

J'arrivai à Kazan dans la soirée: c'était la veille de l'an. On me fit descendre, je ne sais pas pourquoi, dans un hôtel; la maison de la Noblesse était dans la même cour, les salons en étaient brillamment éclairés, et je voyais les masques entrer pour le bal. Je me disais: quel contraste! ici l'on va danser, s'amuser, et moi je vais dans un gouffre. Tout est fini pour moi: plus de chant, plus de danse. Cet enfantillage de ma part est pardonnables à mon âge, je venais à peine d'avoir 21 ans. Je fus troublée dans mes pensées par l'entrée d'un agent du gouverneur militaire, qui m'avertissait que je ferais mieux de retourner sur mes pas, vu que la princesse Troubetskoy, qui me précédait, avait dû s'arrêter à Irkoutsk (on ne la laissait pas aller plus loin), et que ses effets avaient été visités. Je lui répondis que j'avais pris mes précautions et qu'on me laisserait passer, vu que j'en avais la permission de S. M. l'Empereur. Cela me fait souvenir que pour m'em-

pêcher de partir ma soeur Orloff me disait: «Qu'allez-vous faire? votre mari s'est peut-être adonné à la boisson, il s'est abruti!»—«Raison de plus pour moi de partir», lui ai-je répondu.

Je me remis en route: le temps était affreux, l'aubergiste me dit qu'il serait plus prudent d'attendre, que le chasse-neige allait venir.

Je pensai que j'aurais bien autre chose à braver en Sibérie. Je fis baisser la poroža attachée au bout du kibitka, et me voilà partie. Mais je ne connaissais pas les chasse-neige des steppes; la neige s'amoncelait sur notre couverture, nous avions une montagne entre le cocher et nous. Je fis sonner ma montre: il était minuit: mon nouvel an, mon réveillon! Je me tournai vers ma femme de chambre pour lui souhaiter la bonne année, n'ayant personne d'autre à qui le dire, mais elle était de si mauvaise humeur, je trouvai sa mine si repoussante que je m'adressai au ямщикъ (postillon): «Съ новымъ годомъ тебя поздравляю!»; et ma pensée se reporta vers mes parents, ma jeunesse, mon enfance. Combien ce jour était fêté de tout temps chez nous, que de joies, que de plaisirs! Et mon pauvre Serge, que fait-il? La triste réalité m'apparut dans toute sa gravité, je ne pensais plus qu'à mon mari. Les chevaux n'allaien plus, le cocher me dit que nous avions perdu notre chemin, qu'il fallait descendre pour trouver un asile. Fort heureusement la cabane (зимовье) d'un bûcheron était à côté, nous y entrâmes; je fis faire un grand feu, du thé pour les gens, et j'attendis le jour pour suivre ma route. J'allai ainsi pendant 15 jours, tantôt chantant, tantôt récitant des vers, sans rien rencontrer d'intéressant; je ne voyais rien du pays que je traversais, le froid était intense et le kibitka couvert. Un soir mon domestique me dit que nous approchions d'une station, je fis ouvrir et je vis de grands feux au milieu d'un village, c'était des bûchers (костры) que l'on entretenait pour donner la possibilité à une foule de gens de se réchauffer; femmes, enfants, soldats, paysans, tous se groupaient autour. Je demandai: «Qu'est-ce?»—«C'est la caravane d'argent (серебрянка) qui

arrive de Nertchinsk». Me voilà enchantée, j'aurai des nouvelles de mon mari. Je vais à la maison de poste et me fais donner du thé pour avoir une contenance; je vois entrer l'officier qui conduisait la caravane; il n'ôte pas son bonnet, ne quitte point sa pipe et lance des bouffées d'un tabac détestable; son sac à tabac graisseux était pendu au bouton de son surtout. Malgré son apparence grossière, je lui demande où se trouvent les prisonniers d'Etat? il me toise du regard et me dit en se détournant pour sortir: «Je ne les connais pas et ne veux pas les connaître». (C'était un nommé Fitinhoff, enfermé plus tard pour moeurs infâmes au couvent de Solovetsky). Alors un de ses soldats, confus pour son chef, s'approche de moi et me dit à voix basse: «Je les ai vus, ils se portent bien et sont dans le pays de Nertchinsk, dans les mines de Blagodatsk». Le brave homme s'est montré plus humain et plus délicat que son chef. Mon voyage n'offrit plus aucun incident, si ce n'est que les chevaux s'emportèrent à la descente de la plus haute montagne de l'Altaï. Je sautai dans la neige sans me faire le moindre mal.

#### Irkoutsk.

Arrivée à Irkoutsk, capitale de la Sibérie Orientale, je trouvai la ville jolie, le site fort beau, la rivière superbe, quoique couverte de glaces. J'allai avant tout à la première église qui se présenta à mon regard, pour y faire dire un Te Deum d'actions de grâces. Le prêtre qui officiait était justement celui qui plus tard devint le chapelain de notre prison. Rentrée chez moi, ma surprise, mon ravissement étaient au comble. Je vis un piano que ma chère Zénéide Wolkonsky avait fait attacher derrière mon kibitka à mon insu. Cette surprise m'était précieuse, car il n'y avait qu'un seul piano à cette époque à Irkoutsk, et c'est au gouverneur qu'il appartenait. Je me mis à jouer, à chanter, je ne me sentais plus si seule. Le logement où je me trouvais était justement

celui que Catache avait quitté le jour même pour aller au Transbaikal. Le gouverneur civil, Mr Zeidler, vieil allemand, vint me voir de suite pour m'endoctriner, m'engager à retourner en Russie. Il en avait reçu l'ordre. Sa Majesté voyait d'un mauvais œil le départ de nous autres jeunes femmes, cela jetait trop d'intérêt sur les pauvres exilés. Comme il leur était défendu d'écrire à leurs parents, on espérait que ces pauvres gens seraient bientôt oubliés en Russie, tandis qu'il était impossible de nous défendre, à nous, d'écrire, et par là même d'entretenir les relations de parenté.

Le gouverneur, me voyant bien décidée à partir, me dit: «Songez donc aux conditions que vous allez signer». — «Je le ferai sans les lire». — «Je dois faire visiter tous vos effets, il y a défense pour le moindre objet de prix». Sur quoi il partit, et m'envoya une nuée de tchinovniks. Ils n'eurent pas grand'chose à inscrire: un peu de linge, trois robes, des portraits de famille et une pharmacie portative; puis ils ouvriront les caisses d'envois. Je leur dis que tout cela était pour mon mari, puis on me présenta le fameux papier à signer, ils me dirent d'en garder copie pour m'en bien souvenir. Quand ils furent partis, mon domestique, qui l'avait lu, me dit les larmes aux yeux: «Princesse, qu'avez-vous fait, lisez donc ce que l'on exige de vous?» — «Cela m'est égal, emballons vite et partons».

Voici la traduction du papier:

#### § 1.

«La femme qui a suivi son mari en Sibérie et continue de vivre conjointement avec lui, doit nécessairement partager son sort. Elle renonce par là à tous les droits de sa position première et ne sera plus considérée que comme la femme d'un forçat exilé. Elle doit supporter tout ce que cette

position a de pénible, vu que même les autorités ne seront pas en état de la défendre contre les insultes et les avances incessantes de gens dépravés faisant partie de la classe la plus méprisable, qui croiront avoir le droit d'outrager et même de violer la femme d'un criminel d'Etat partageant leurs propres sortes. Les criminels endurcis ne craignent pas les punitions.

§ 2.

Les enfants, nés de cette union en Sibérie, doivent être inscrits dans la catégorie des paysans de la Couronne.

§ 3.

Aucune somme d'argent ni aucun objet de prix ne peut être gardé; cela est défendu par l'ordre établi, et c'est même nécessaire pour la conservation des personnes, vu que ces contrées sont peuplées de gens prêts à toute espèce de crimes.

§ 4.

On perd aussi tout droit sur les serviteurs serfs que l'on a amené avec soi».

Après avoir réparé le désordre que les tchinovniks

avaient mis dans mes effets, et fait réemballer le tout, je songeai qu'il me fallait une feuille de route. Le gouverneur, depuis la signature du papier, ne daignait plus venir chez moi, c'était à moi de faire antichambre. J'y allai, et l'on me donna un passeport au nom du cosaque qui devait me conduire, le mien restait en blanc, съ будущимъ.

Je trouvai en entrant chez moi Alexandrine Mouravieff (née Tchernicheff), établie dans ma chambre: elle venait d'arriver. Partie à quelques heures de distance, je la précédais de huit jours. Nous prîmes, tant en riant qu'en pleurant, notre thé ensemble, il y avait sujet à tout, car nous étions entourées de caricatures, les mêmes tchinovniks étant revenus pour visiter ses effets. Je partis en véritable courrier. J'étais fière de n'avoir mis que 20 jours pour arriver à Irkoutsk.

Je traversai de nuit le Baïkal par un froid vraiment féroce, la larme gelait à l'oeil, la respiration semblait se glacer. Je ne trouvai plus de neige à Verkhnéoudinsk, petite ville de district; le sol y est si sablonneux qu'il absorbe toute la neige; c'est le même cas à Kiachta, ville sur la frontière chinoise, il y fait un froid horrible mais point de traînage. Je m'arrêtai chez le colonel Alexandre Mouravieff, exilé, mais non dégradé. Sa femme, ses belles-sœurs, me reçurent à bras ouverts; comme il se faisait tard, on exigea de moi de passer la nuit chez eux; le lendemain je pris deux télégas de poste, j'y fis placer mes effets, j'abandonnai les kibitkas et me voilà partie.

L'idée d'aller en перекладная (chariot de poste), m'amusaît beaucoup; ma joie se calma quand je m'eus sentis secouée à en avoir mal à la poitrine. Je faisais arrêter pour respirer librement. J'eus de ce plaisir pendant 600 verstes; avec tout cela j'avais faim, l'on ne m'avait pas prévenue que je ne trouverais rien aux stations, elles étaient tenues par des Bouriates, ne mangeant que de la viande crue ou séchée ou salée, et ne prenant que du thé de briques, avec de la graisse fondue. Enfin j'arrivai à Biankino chez un riche marchand, qui me choya: il m'avait préparé un festin et me traitait avec les plus grands égards. Je tombais de sommeil,

lui répondant par monosyllabes: je m'endormis sur le canapé. J'arrivai le lendemain au grand Zavod de Nertchinsk, chef lieu du directeur ou chef de mines. J'y rattrapai Catache, partie huit jours avant moi. C'était un grand bonheur pour nous que de nous retrouver, j'étais heureuse d'avoir une compagne avec laquelle je pouvais échanger mes idées. Nous nous soutenions l'une l'autre. Jusque là je n'avais eu que la société de ma repoussante femme de chambre. J'appris que mon mari était à 12 verstes de là dans les mines de Blagodatsk. Catache, ayant signé un second papier, prit les devants pour avertir Serge de mon arrivée. Après que d'ennuyeuses formalités furent remplies, Bournacheff, directeur des mines, me fit signer un papier comme quoi je consentais à ne voir mon mari que deux fois la semaine en présence d'un officier et d'un sous-officier, à ne jamais lui porter de vin ni de bière, à ne jamais quitter le village sans l'autorisation d'un tchinovnik chef de la prison; et je ne sais plus quelles autres conditions; et c'est après avoir quitté mes parents, mon enfant, mon pays natal, après avoir fait six mille verstes et signé un papier par lequel je renonçais à tout et même à la protection des lois, que je m'entendais signifier que même celle de mon mari m'était refusée. Les criminels d'Etat devaient donc subir toute la rigueur des lois comme de simples forçats, mais ne pas jouir de la vie de famille accordée aux plus grands criminels et malfaiteurs. Je voyais ces derniers rentrer chez eux à peine leur tâche finie, sortir, s'occuper de leurs affaires; ce n'est qu'après une récidive de crime qu'on les mettait aux fers et en prison, tandis que nos maris furent enfermés et enchaînés dès le premier jour de leur arrivée. Bournacheff, frappé de ma stupeur, me proposa de partir le lendemain de grand matin pour Blagodatsk, ce que je fis; il me suivait dans son traineau.

#### Les mines de Blagodatsk.

Ce village ne consistait qu'en une seule rue, entourée de montagnes plus ou moins percées par les fouilles qu'on y avait faites pour l'exploitation du plomb qui contient le

mineraï d'argent. Le site serait beau, si l'on n'avait abattu tout ce qu'il y avait de forêts à 50 verstes à la ronde, de peur que les forçats ne s'y refugient dans leur fuite; les buissons même étaient coupés, le paysage était triste en hiver.

La prison était aux pieds d'une haute montagne, c'était une caserne abandonnée, peu spacieuse, sale, dégoûtante. Trois soldats et un sous-officier montaient la garde intérieure, ils n'étaient jamais changés. Plus tard on fit mettre douze cosaques et un sous-officier dans le corps de garde extérieur.

Elle contenait deux pièces, séparées par un grand vestibule froid. L'une était occupée par des malfaiteurs qui avaient déjà fui. Rattrapés bientôt après, on les gardait aux fers. L'autre était destinée à nos prisonniers d'Etat; l'entrée de la chambre appartenait aux soldats et sous-officier, qui fumaient leur horrible tabac et ne se souciaient nullement de la propreté de l'habitation. Le long des murs de la chambre se trouvaient des espèces de chenils ou de cellules en planches affectées aux prisonniers, on montait deux degrés pour y entrer. Celle de Serge n'avait que trois archines de long et deux de large; c'était bas à ne pouvoir s'y tenir debout; il la partageait avec Troubetskoy et Obolensky. Ce dernier, n'ayant pas de place pour son lit, fit mettre des planches fixées au mur au-dessus de celui de Troubetskoy. C'était donc de petites prisons dans la prison même. Bournacheff me proposa d'entrer. Je ne vis rien au premier moment tant il faisait sombre; on ouvrit une petite porte à gauche, et je montai dans la cellule de mon mari. Serge se précipita vers moi; le bruit de ses chaînes attira mon attention. Je ne le savais pas aux fers. Cette détention si rigoureuse me fit comprendre tout ce qu'il devait souffrir. La vue de ses fers m'exalta, m'attendrit au point que je m'agenouillai devant lui, j'embrassai ses chaînes d'abord et lui ensuite. A cette vue Bournacheff qui se tenait sur le pas de la porte, ne pouvant entrer vu le peu d'espace, resta tout ébahie du respect et de l'admiration que je témoignais à mon mari, lui qui le tutoyait et le traitait de forçat.

En effet, que l'on considère les convictions de ces Messieurs de folie et de rêve politique, toujours est-il juste de

dire que celui qui sacrifie sa vie pour ses convictions, mérite l'estime de ses compatriotes. Кто кладеть голову свою на плаху за свои убѣжденія, тотъ истинно любить отечество, хотя, можетъ-быть, и преждевременно затѣялъ дѣло свое.

Je tâchais d'être gaie; sachant mon oncle Davidoff derrière la cloison, j'élevai la voix pour m'en faire entendre et lui donner des nouvelles de sa femme et de ses enfants. L'entrevue terminée, j'allai me loger dans la même maison de paysan que Catache. Elle était si peu spacieuse qu'en me couchant par terre sur mon matelas, ma tête touchait le mur et mes pieds la porte. Le poêle fumait, on ne pouvait chauffer quand il faisait du vent dehors, point de vitres aux fenêtres, mais du mica.

Le régime de la prison était d'aller au travail tous les jours excepté le Dimanche, dès les 5 heures du matin jusqu'à 11: la tâche était de trois pouds pour chacun.

C'est ici le moment de dire combien le Gouvernement se trompe sur notre bon peuple russe. On m'avait avertie à Irkoutsk que je courrais risque d'être insultée, assassinée aux mines, et que les autorités du lieu ne seraient pas à même de me défendre, vu que ces malheureux ne craignaient plus les punitions. J'étais maintenant au milieu de ces gens appartenant à la dernière classe des hommes, et cependant ils nous entouraient de respect; je dirai plus, ils nous portaient un véritable culte, à Catache et à moi, et ne nommaient pas autrement nos détenus que «nos princes», «nos maîtres», et quand ils étaient au travail ensemble, ils voulaient faire la tâche pour eux; ils leur apportaient des pommes de terre brûlantes, cuites sous la cendre. Ces malheureux, après avoir fini leurs années de travaux forcés et subi la peine de leurs crimes, revenaient pour la plupart à de bons sentiments, travaillaient pour eux-mêmes et devenaient de bons pères de famille, et même des commerçants. Vous n'en trouveriez pas beaucoup d'aussi honnêtes sortis des bagnes en France et des pontons en Angleterre.

Le lendemain de mon arrivée à Blagodatsk, je me levai

à la pointe du jour et j'allai me promener dans le village, m'informant du lieu de travail de mon mari. Je vis une porte comme pour entrer sous terre dans une cave, et un gardien armé d'une hallebarde à côté. On me dit que c'était par là que ces Messieurs entraient. Je demandai si on pouvait les voir à l'ouvrage, le brave homme s'empressa de m'offrir un cierge, espèce de torche, et je me hasardai avec un autre, son supérieur, dans ce labyrinthe sombre. Il y faisait assez doux, mais un air renfermé qui fatiguait la poitrine. J'allais vite et j'entendais une voix qui me criait d'arrêter. Je compris que c'était l'officier, qui ne voulait pas me laisser parler aux prisonniers. J'éteignis ma torche et me mis à courir, car je voyais des points lumineux dans le lointain. C'étaient ces Messieurs au travail sur une petite élévation; ils me descendirent une échelle, je grimpai, on la retira après moi, de sorte que je pus voir les camarades de mon mari et leur donner des nouvelles de Russie, leur remettre les lettres que j'avais pour eux. Mon mari n'était pas là, ni Obolensky, ni Yakoubovitch, ni Troubetskoy. Je vis Davidoff, les deux Borissoff et Artamon Mouravieff. Ces Messieurs étaient les huit premiers envoyés de Russie, et les seuls qui eussent été aux usines de Nertchinsk. En attendant, l'officier perdait patience en bas: il m'appelait; enfin je descendis, et depuis lors défense expresse de laisser entrer les dames dans les souterrains. Artamon Mouravieff avait nommé cette scène ma «descente aux enfers».

Notre arrivée, à Catache et à moi, avait fait un bien immense aux détenus. N'ayant pas la permission d'écrire, ils étaient privés des nouvelles de leur famille et de tout secours pécuniaire. Nous écrivions pour eux, et dès lors ils reçurent lettres et envois. Cependant nous manquions d'argent: je n'avais apporté que 700 roubles assignats. Le restant de mon avoir était dans les mains du Gouverneur. Catache n'avait plus rien. Nous nous mêmes au régime: une soupe et un gruau, voilà notre ordinaire; plus de souper. Catache, si habituée à la table recherchée de son père, mangeait un morceau de pain noir et l'arrosoit de kvas. C'est ainsi qu'un gardien de

la prison la trouva souvant et le redit à son mari. Nous avions l'habitude d'envoyer à dîner à ces Messieurs. Il fallait renouveler leur linge. Je vois encore Catache, un livre de cuisine à la main, leur faisant des plats, des sauces. Dès que ces Messieurs apprirent notre gêne, ils ne voulurent plus de notre dîner; les soldats de la prison, tous bonnes gens, se chargeaient de leur nourriture. C'était fort à propos, car nos femmes de chambre étaient devenues très récalcitrantes: elles ne voulaient nous aider à rien, leur conduite devint éhontée, elles se lièrent avec les sous-officiers et les cosaques de la prison; les autorités en prirent ombrage et exigèrent leur renvoi. Je ne puis dire avec quel sentiment de tristesse nous les vîmes prendre le chemin de la Russie; les prisonniers étaient tous aux fenêtres suivant l'équipage des yeux. Chacun se disait: «Ce chemin est muré pour moi». Nous restâmes sans nos soubrettes, je balayais, je rangeais la chambre, je coiffais Catache et je vous assure que tout allait mieux dans notre ménage.

Quand le dégel commença, je remarquai que le malheureux forçats non mariés et vivant en commun dans une caserne se tenaient assis hors de leur demeure et regardaient au loin. J'en demandai la raison, on me répondit qu'à l'approche du printemps, il leur prenait une envie irrésistible de fuir et qu'ils voyaient toujours avec joie la fonte des neiges; n'ayant pas de pelisses, ni de bottes chaudes, ils ne pouvaient s'aventurer en hiver, mais au printemps une grande partie d'entre eux fuyait; quelques-uns parvenaient jusqu'en Russie. Jamais trahis, ils y finissaient leurs jours.

Les premiers temps, nos promenades avec Catache se bornaient au cimetière du village, et nous nous demandions: «Serons-nous enterrées ici?» et cette idée était si désespérante que nous finîmes par ne plus aller de ce côté-là. Dans la belle saison nous faisions 10 à 15 verstes à pied. Notre passe-temps favori était de nous mettre sur une pierre vis-à-vis de la fenêtre de la prison, je causais de là avec mon mari, assez haut, car c'était d'assez loin. Ce qui me gênait beaucoup, c'est que je voyais sortir de la prison des malheureux allant puiser de l'eau ou prendre du bois; ils étaient sans chemise, rien



Александра Ивановна Давыдова.



Марья Казимировна Юмпевская.

que l'habit indispensable. J'achetai de la toile et leur fis faire du linge. Notre argent était déposé chez le chef des mines, nous étions tenues, Catache et moi, d'aller à tour de rôle au grand Zavod pour présenter le compte de notre dépense journalière. J'allais en charrette avec mon domestique, mais convenablement mise, en chapeau de paille avec un voile. Nous étions toujours soignées, Catache et moi, dans notre habillement, car il ne faut jamais s'abattre ni se laisser aller, dans ce pays surtout où grâce à notre costume on nous voyait de loin. On nous abordait avec respect; je revenais avec mes provisions, quelquefois même assise sur un sac de farine; l'on ne m'en respectait pas moins, et les gens du peuple me saluaient toujours. Pour faire diversion, j'imaginais d'aller à cheval; je pris le cheval d'un cosaque, je fis ajouter une corne à sa selle et je partis toute joyeuse, accompagnée de mon domestique, pour présenter mes comptes à Bournacheff. Il les lisait toujours avec attention, et cette fois il se fâcha tout rouge en disant: «Vous n'avez pas le droit de distribuer des chemises; vous pouvez soulager l'indigence en donnant 5 ou 10 sous à des mendians, mais non habiller des gens appartenant à la Couronne». — «Alors, monsieur, faites-les habiller vous-même, car je ne suis pas habitée à voir marcher des hommes presque nus dans les rues». — «Allons, ne vous fâchez pas, Madame, du reste vous êtes franche comme un enfant, j'aime mieux cela, car votre compagne finasse toujours avec moi». Avec son gros bon sens il l'avait compris, Catache ayant beaucoup de finesse d'esprit. Je mis fin à la conversation, disant que je devais partir, ne voulant pas m'attarder à cheval dans les montagnes. — «Comment! vous êtes à cheval? Et le voilà qui me suit. Il n'avait jamais vu de selle de dame et m'en témoigna tout son étonnement, car les femmes du pays montaient toujours à califourchon.

Depuis lors je faisais de longues promenades, je me donnais le plaisir de mettre mes pieds en Chine, nous n'étions en ligne directe qu'à 12 verstes de la frontière. Tous les ans les habitants de Blagodatsk allaient à certains jours à la

frontière, pour l'échange de leurs modestes denrées contre du thé de briques et du millet. Cette contrebande a longtemps subsisté, et soutenait ces pauvres gens qui n'auraient jamais eu de quoi payer la douane.

Comme je vous l'ai dit, je n'allais que deux fois par semaine voir mon mari; dans l'intervalle de ces entrevues il se passa un événement qui nous effraya et nous attrista beaucoup. Monsieur Rick, petit officier des mines, auquel la surveillance de la prison était confiée, imagina un surcroît de peine pour ces Messieurs. Il exigea qu'à peine rentrés du travail, au lieu de se laver, de s'habiller et de dîner ensemble, chacun rentrât dans sa cellule et y mangeât ce qu'on lui donnerait. De plus il fit des économies et ne leur donna plus de chandelles. Or rester sans lumière depuis 3 heures de l'après midi jusqu'à 7 heures du matin, en hiver, dans une espèce de cage où l'on étouffait, c'était une véritable torture; de plus toute conversation d'une cellule à l'autre fut interdite. Ces Messieurs se concertèrent, et sachant combien les geôliers craignent que les détenus confiés à leur garde n'attendent à leurs jours, ils résolurent de n'accepter aucune nourriture afin d'effrayer Rick. Voilà qu'ils restent tout un jour sans manger; le dîner, le souper sont renvoyés intacts; le second jour, même histoire. Monsieur Rick en perd la tête. Il expédie vite un rapport comme quoi les prisonniers d'Etat sont en pleine révolte et veulent se laisser mourir de faim. C'était encore en hiver, quelques jours après mon arrivée. Je ne me doutais de rien, Catache non plus. Grand fut notre étonnement de voir arriver Bournacheff avec sa suite. Ils s'arrêtèrent dans la maison à côté de nous. Les habitants du lieu se rassemblèrent autour. Je demandai à une femme ce que cela voulait dire, elle me répondit: «On va juger les Messieurs qui sont au secret». (Секретных судить будуть). Et je vois avancer lentement mon mari et Troubetzkoy escortés de soldats. Catache, qui perdait facilement la tête, me dit que Serge avait les mains attachées derrière le dos. Il n'en était rien, je savais qu'il avait l'habitude de marcher ainsi. Je la vois courir vers un soldat des mines qui se tenait là, elle revient avec un visage

satisfait et me dit: «Soyons tranquilles, rien ne peut arriver, je viens de demander à un soldat si on avait préparé des battons, il m'a dit que non».—«Catache, qu'avez-vous fait? il ne faut pas que nous admettions une idée semblable». Mon mari avançait toujours, je m'agenouillai dans la neige pour le supplier de ne pas s'emporter, il me le promit. Bournacheff (comme je l'appris plus tard) prit un air sévère et dur en leur parlant, les menaçant du knout s'ils se révoltaient, et après un long monologue, les laissa s'expliquer. Serge lui dit que personne ne songeait à se révolter, mais que Monsieur Rick les enfermait, à peine rentrés du travail, dans leur cellule sans lumière, ne leur permettant pas de prendre leur repas ensemble; or ces cellules étaient basses et sombres, on ne pouvait s'y tenir debout. Je vis repasser mon mari avec un air calme, et il me dit: «Все вадоръ», et me tranquillisa en me disant que tout irait bien. Ensuite on amena les autres, il leur fut facile de parler après que Serge les eût avertis des questions qu'on leur ferait. Quand tous furent partis, nous entrâmes avec Catache chez Bonrnacheff, et je lui demandai tout simplement la cause de tout cela. Il me dit: «Ce n'est rien, ce n'est rien, mon officier a fait un éléphant d'une mouche». Toutefois on voyait qu'il avait partagé la frayeur de Rick, car il ordonna d'ouvrir de suite les cellules, de laisser nos Messieurs passer leur temps comme ils l'entendaient dans l'intérieur de la prison, et de leur donner de la lumière le soir. Quelque temps après, Monsieur Rick fut renvoyé et remplacé par Monsieur Résanoff, brave et digne homme, avancé en âge. Il venait jouer aux échecs en prison, il menait ces Messieurs à la promenade quand le beau temps fut venu; c'était des excursions de plusieurs heures, pendant lesquelles les frères Borisoff, grands naturalistes, herborisèrent et firent une collection d'insectes et de papillons.

Outre notre prison, il y en avait une autre où se trouvaient ceux des malfaiteurs qui avaient fui à plusieurs reprises et commis des brigandages. Leurs fers étaient beaucoup plus pesants et leur travail plus fort. Le fameux brigand Orloff se trouvait parmi eux; c'était un héros dans son genre.

Il n'attaquait jamais les pauvres gens; c'était aux marchands et surtout aux tchinovniks qu'il en voulait, et il s'était même donné le plaisir d'en fouetter plusieurs. Cet Orloff avait une voix magnifique, il avait formé un chœur avec ses camarades de détention, et au coucher du soleil je les entendais chanter avec une justesse et une expression vraiment étonnante; il y avait surtout un air profondément triste que je leur entendais répéter souvent: «Воля, воля дорогая». C'était leur unique distraction; entassés dans une prison étroite, sombre, ils ne la quittaient que pour les travaux forcés. Je les aidais autant que j'en avais les moyens, et j'encourageais leurs chants en m'asseyant tout près de leur triste habitation. Voilà que j'apprends un jour qu'Orloff avait fui. Toutes les recherches pour le trouver furent inutiles. Comme je me promenais un jour du côté de notre prison, je vois un forçat qui me suit, c'était jadis un brave hussard; il me dit à voix basse: «Princesse, Orloff m'envoie vers vous il est caché au haut de ces montagnes, dans ces rochers au-dessus de votre maison; il y demeure depuis longtemps et vous prie de lui envoyer de l'argent pour s'acheter une pelisse, les nuits sont déjà froides». Je fus toute effrayée par cette révélation; cependant comment laisser ce pauvre homme sans secours? Je rentrai à la maison, je pris 10 roubles, j'avais dit préalablement à l'ex-hussard de ne pas me suivre, mais de remarquer l'endroit où je me baisserais dans ma promenade pour y déposer l'argent sous une pierre. Il ne manqua pas de faire ce que je lui avais dit et trouva l'argent de suite. Quinze jours plus tard, j'étais seule dans ma chambre, Catache n'était pas rentrée de son entrevue, je chantais au piano, il faisait assez sombre, je vois entrer quelqu'un de très grande taille, il se mit à genoux sur le seuil de la porte. Je m'approche de lui, c'était Orloff en pelisse avec deux coutelas à sa ceinture. Il me dit: «Je viens encore à vous, donnez-moi quelque chose, je n'ai plus de quoi vivre, Dieu vous le rendra, Votre Altesse!» Je lui donnai cinq roubles, lui disant de sortir au plus vite. Catache, au retour de la prison, s'effraya beaucoup de cette apparition, et il y avait de quoi, comme vous allez le voir. Je m'étais couchée

tard pensant toujours à ce brigand qui pouvait être pris, et alors Bournacheff n'aurait pas manqué de répéter sa phrase: «Vous voulez soulever les forçats». Au milieu de la nuit j'entends des coups de fusil, je réveille Catache, et nous envoyons à la prison pour des renseignements. Tout y était tranquille. Tout le village est bientôt sur pied, et l'on apprend que les бѣглы (fuyards) avaient été pris sur la montagne, qu'ils avaient été tous arrêtés à l'exception d'Orloff, lequel avait fui par la cheminée ou plutôt par l'ouverture qui laissait passer la fumée. Ce malheureux au lieu de s'acheter du pain, s'était amusé à boire avec ses camarades, fêtant leur délivrance. Le lendemain, grande distribution de coups de platti pour savoir qui leur avait donné l'argent pour acheter l'eau-de-vie; personne ne me nomma: le hussard aimait mieux s'accuser d'un vol que de trahir mes bienfaits, comme il me l'a conté plus tard. Que de reconnaissance et de dévouement parmi ces gens que l'on m'avait dépeints comme des monstres!

Nous étions au grand carême, nos détenus ne purent obtenir la visite d'un prêtre, et comme il n'y avait pas d'église dans le village, je me décidai avec Catache à aller au Grand Zavod pour y faire nos Pâques. Cela nous prit quatre jours. Nous passâmes tristement les fêtes, n'ayant d'autre distraction que d'aller nous mettre sur la pierre non loin de la prison. Je jouais aussi avec les petits enfants du village. Je leur racontais l'histoire sainte, ils m'écoutaient avec adoration. Voilà qu'un matin la porte s'ouvre, et nous voyons entrer un tchinovnik tout à fait ivre qui nous souhaite la bonne fête (Христосъ воскресъ!), et s'avance vers nous pour nous embrasser, selon l'usage du peuple. Tout en lui répondant que cela ne se faisait pas en Russie, je me mets derrière une chaise et en la tenant j'avance derrière la porte que j'ouvre. Mon domestique entra, tandis que Catache causait avec le Monsieur, qui se trouvait être le maître de poste. Ефимъ lui dit que le déjeuner l'attendait chez le chef de la prison: il partit de suite, ne voyant rien sur notre table. Le jour suivant, Catache alla à la messe au Grand Zavod et entra

chez un marchand où on nous avait dit de nous arrêter toujours, car c'était l'espion de Bournacheff. La dame du logis avait beaucoup de monde à dîner, elle engage Catache à se mettre à table; refuser serait faire une offense cruelle, l'hospitalité étant la première vertu des Sibériens. Catache se résigne, et par contenance elle veut causer avec son voisin qui n'est autre que notre maître de poste. Elle lui dit: «Nous sommes d'anciennes connaissances, n'est-ce-pas?» «Pas du tout, car je ne suis entré chez vous que parce que j'étais ivre» (я был у вас въ пьяномъ видѣ). Voilà Catache tout-à-fait décontenancée, elle ne cause plus qu'avec la maîtresse de la maison et s'en va aussitôt le dîner fini.

Il était défendu (à la Grande Usine) non seulement de nous voir, mais encore de nous saluer; tous ceux que nous rencontrions se sauvaient dans une reulle ou détournaient les yeux. Nos lettres étaient remises ouvertes à Bournacheff, envoyées à la Chancellerie du Commandant et ensuite à celle du Gouverneur civil à Irkoutsk, puis à Pétersbourg, à la III-me section de la Chancellerie de S. M., de sorte quelles mettaient un temps infini à parvenir à nos parents.

Une nouvelle souffrance vint se joindre à toutes celles que subissaient nos détenus: ils furent assaillis de punaises, mais au point que Troubetskoy s'enduisait le corps de térbenthine et cela n'a aidait à rien. Résanoff leur permit de passer la nuit au grenier, cela les en débarrassait pour quelques heures. Quand je rentrais de la prison je faisais secouer mes habits, tant il y en avait sur moi. C'était pour eux presque la punition imposée en Perse aux malfaiteurs, que l'on livre à la piqûre des insectes.

Nous reçumes enfin des nouvelles d'Alexandrine Mouravieff, qui était installée à Tchitinsky Ostrog, autrement dit à Tchita, grand village où se trouvaient déjà son mari et plusieurs autres détenus, amenés comme toujours en charrette de poste, escortés de gendarmes et d'un courrier de cabinet (фельдъ-егерь). Alexandrine nous apprenait l'arrivée du Commandant Léparsky et de son entourage, et nous communiquait que nous serions tous transférés à Tchita. C'était une grande joie pour

nous que l'idée l'être réunis et de n'être plus sous la juridiction des officiers des mines. Nous faisions nos paquets déjà, quand Bournacheff se fait annoncer; il entre avec sa suite qui se tient tout le temps debout, et me demande si je fais déjà mes préparatifs de voyage, je lui réponds d'un air content que nous étions prêtes.—«Eh bien, ne vous pressez pas, vous ne partirez pas de si tôt, les chemins ne sont pas sûrs, la chaîne des malfaiteurs venant de Russie s'est révoltée et ces malheureux font des brigandages». La chose était vraie en partie, il y avait eu insubordination, vu que ces pauvres gens manquaient de tout. Bournacheff ne craignait nullement pour nous, mais pour lui même, s'imaginant que nos Messieurs se joindraient aux malfaiteurs. Enfin au bout de quinze jours nous recevons la permission de partir.

#### Arrivée et séjour à Tchita.

Nous fîmes acheter deux телѣги ou charriots, l'un pour nous, l'autre pour nos effets, et nous partîmes. Je repassais avec plaisir cette route maintenant entourée de belles forêts, de fleurs magnifiques. Je m'arrêtai de nouveau chez le riche marchand, qui m'avait tant fêtée. Enfin nous arrivons à Tchita brisées de fatigue et descendons chez Alexandrine Mouravieff. Madame Narichkine et Madame Entaltzeff étaient depuis peu arrivées de Russie. L'on me fit voir de suite, de loin s'entend, les prisons ou ostrogs déjà remplies de monde. Il y en avait trois. C'était des espèces de casernes entourées de palissades, hautes comme dés mâts de vaisseaux. L'une des prisons était assez spacieuse, les autres très petites. Alexandrine logeait vis-à-vis de la dernière, dans la maison d'un cosaque, qui avait fait une grande fenêtre au grenier d'une lucarne qui s'y trouvait. Alexandrine m'y conduisit pour m'y faire voir les prisonniers qu'elle me nommait à mesure qu'ils paraissaient dans leur potager. Chacun se promenait avec une pipe ou une bêche à la main, ou bien tenant un livre. Je n'en connaissais pas un; ils avaient l'air calme et même gai, très

proprement mis. Dans le nombre se trouvaient de tout jeunes, ne paraissant pas avoir plus de 18 à 19 ans, comme Froloff, les frères Bélaeff.

Ces Messieurs allaient au travail, mais comme il n'y avait aucune espèce de mine aux environs,—notre gouvernement était mal instruit de la topographie de son pays, s'imaginant que la Sibérie en contenait partout —le Commandant inventa d'autres travaux pour ces Messieurs: il leur fit nettoyer des étables, des écuries de la Couronne abandonnées depuis longtemps, comme celles d'Augias dans les temps fabuleux. C'était encore en hiver, bien avant notre arrivée, et quand l'été fut venu, on leur faisait balayer les rues. Mon mari arriva deux jours après nous avec ses camarades et leur suite obligée. Une fois les rues mises en ordre, le Commandant imagina de les faire travailler à des moulins à bras; ces Messieurs devaient moudre telle quantité de farine par jour, punition pratiquée dans les couvents, et qui ne répondait que trop à la vie monastique qu'ils menaient. C'est ainsi que la plupart passèrent 15 années de leur belle jeunesse dans une réclusion forcée, n'ayant été condamnés qu'à l'exil et aux travaux forcés, mais nullement à la prison.

Il fallait chercher un logement pour moi, M<sup>me</sup> Narichkine logeait déjà avec Alexandrine. Je pris M<sup>me</sup> Entaltzeff chez moi, et à nous trois avec Catache nous occupâmes une chambre dans la maison d'un diacre. Elle était partagée par une cloison. M<sup>me</sup> Entaltzeff prit la plus petite pour elle seule. Cette brave femme avait déjà ses 44 ans, elle ne manquait pas d'esprit, elle avait lu tout ce qui existait en fait de livres russes, sa conversation était agréable. Elle était dévouée de cœur et d'âme à son bourru de mari, ex-colonel d'artillerie. Catache s'arrangeait de tout, elle qui avait été élevée à la belle maison Laval à Pétersbourg et marché sur les dalles de marbre de Néron, dont sa mère avait fait acquisition à Rome. Elle se passait de tout, mais elle aimait le monde, la causerie; son esprit était fin et très piquant, son humeur douce et agréable.

Maintenant que je suis en train de vous parler de mes

compagnes je vous dirai, qu'Alexandrine Mouravieff était celle que j'aimais le plus; elle avait un cœur aimant, de la noblesse dans toutes ses actions; enthousiaste pour son mari, elle s'en faisait un Dieu et voulait que nous le prissions pour tel. Nikita Mouravieff était froid, sérieux; c'était un homme de cabinet, mais nullement d'action; tout en l'estimant beaucoup, nous ne partagions pas cette admiration. M<sup>me</sup> Narichkine était petite, très forte, se donnant des grâces, mais au fond très estimable; on finissait par l'aimer une fois que l'on s'était habitué à son air fier. M<sup>me</sup> Von-Wiesen arriva bientôt après notre installation, elle avait une physionomie tout-à-fait russe, blanche, fraîche, des yeux bleus à fleurs de tête, petite, rondelette. Très maladive, ses insomnies étaient accompagnées de visions, elle criait la nuit au point qu'on l'entendait dans la rue. Tout cela lui passa une fois aux colonies, mais il lui en est resté la manie de vous fixer et de prédire votre avenir. Cette fantaisie même lui a passé; en rentrant en Russie elle a perdu son mari et s'est remariée à l'âge de 53 ans avec Monsieur Poustchine, parrain de mon fils. M<sup>me</sup> Annenkoff, nous est arrivée étant encore M<sup>me</sup> Paul, jeune française; belle femme, d'une trentaine d'années, elle pétillait d'entrain, de gaîté, elle savait ridiculiser son monde à merveille; aussitôt son arrivée, le Commandant lui dit avoir déjà reçu les ordres de Sa Majesté concernant son mariage. On ôta les fers à J. Annenkoff au moment de le mener à l'église, car d'après nos lois il est ordonné de le faire ainsi, et on les lui remit ensuite. Les dames accompagnèrent M<sup>me</sup> Paul à l'église. Elle ne comprenait pas le russe et riait tout le temps avec ses garçons de noce, Svistounoff et Alexandre Mouravieff. Sous cette apparente insouciance il y avait un profond sentiment d'amour pour Annenkoff, qui lui avait fait renoncer à son pays et à sa vie indépendante. Quand elle était venue présenter sa supplique pour aller en Sibérie, Sa Majesté était sur son perron; au moment de monter en calèche il lui demanda: «Etes-vous mariée? —«Non, Sire, mais je veux partager le sort de l'exilé». Elle a été une épouse dévouée, une mère tendre, elle travaillait du matin au soir

tout en conservant son élégance et aussi son langage habituel. L'année suivante M<sup>me</sup> Davidoff nous arriva, elle avait avec elle ma femme de chambre Macha, qui avait supplié mes parents de lui permettre de me suivre. Plus tard il nous vint d'autres dames (en tout dix) dont je parlerai plus loin.

Les lettres de Russie nous arrivaient plus exactement, et les envois aussi. Je reçus un charroi de provisions de sucre, vin, huiles, riz et même du porter. C'est la seule fois que j'eus ce plaisir; je compris plus tard d'où venait cette espèce de négligence, c'est que mes parents étaient partis pour l'étranger. Mais Alexandrine, Catache, et M<sup>me</sup> Narichkine recevaient annuellement tout ce qu'il leur fallait, de sorte qu'il y avait toujours de vin et des gruaux pour les malades. Bientôt il fut permis d'avoir des entrevues à la maison, et c'est alors que mes provisions arrivèrent; tout fut partagé entre les camarades. La difficulté était de passer le vin, expressément défendu à la prison. Serge en mettait 2 bouteilles dans ses poches pendant les entrevues et les emportait ainsi; comme je n'en avais que cinquante, cela fut vite transporté.

Notre vie était devenue plus tolérable à Tchita; les dames se voyaient entre elles en faisant des promenades hors du village. Les maris avaient retrouvé d'anciens amis. En prison, tout était en commun, les effets, les livres, mais ils étaient bien à l'étroit, c'est à peine s'il y avait une archine entre les lits; le bruit des chaînes, celui de la conversation, du chant, était insupportable à ceux dont la santé faiblissait. La prison était sombre: des fenêtres d'écurie sous le plafond. En été ces Messieurs se tenaient dehors, chacun avait son petit coin de terre à cultiver dans une vaste cour, mais en hiver c'était insupportable. Ils étaient au nombre de 73. Voici leurs noms.

Comme les entrevues n'avaient lieu que deux fois par semaine, nous allions à la grille, une haute palissade formée de grosses poutres mal jointes; on se voyait et on se parlait ainsi. Les premiers temps on le faisait à ses risques et périls, crainte d'être surprise par le vieux Commandant ou bien par ses insupportables aides de camp qui rôdaient autour, on payait

la sentinelle, qui nous prévenait de leur approche. Voilà qu'un jour un soldat des mines se met en devoir de crier contre nous, et non content de cela il donne un coup de poing à Catache. A cette vue je cours chez M<sup>r</sup> Smolianinoff, chef du village, qui menace le soldat de le faire punir, et j'écris une lettre très forte au Commandant qui s'en formalise, me boude; mais depuis nous pûmes rester autant que nous le voulions à la grille. Catache y faisait salon: elle apportait un pliant de chez elle, s'asseyait (car elle était très forte), et l'on faisait cercle dans l'intérieur de la cour de la prison, chacun attendant son tour de causer. Notre tranquillité fut troublée par l'arrivée d'un «feldjäger» qui venait emmener quelqu'un pour lui faire subir de nouvelles interrogations à Pétersbourg. Il nous fallait absolument savoir qui serait la personne désignée; chacune de nous le redoutait pour son mari. Je vais me promener devant la maison du Commandant, et je rencontre le courrier, qui me reconnaît pour m'avoir vue chez le prince Pierre Wolkonsky; il me salue et me dit en passant devant moi qu'il doit emmener un des détenus, mais qu'il ne connaît pas son nom. Alors je lui dis de venir à la messe le lendemain, Dimanche, et de m'en prévenir. Je me lève de grand matin, vais à l'église, et je prie de tout coeur le Dieu de bonté pour que mon mari ne soit pas enlevé. J'entends les éperons du courrier; il se met derrière moi et en se prosternant il me dit: «C'est Kornilovicz». Je remercie Dieu et je reste à l'église jusqu'à la fin de la messe, malgré mon impatience d'aller tranquilliser mon mari; mais les aides de camp et les espions du Commandant étaient là et ne nous quittaient pas des yeux. A peine fus-je hors de leur présence, que je me mis à courir pour faire savoir la nouvelle dans les trois prisons et à nos dames. C'était au coeur de l'hiver: il faisait 40 degrés de froid. Oh! quel horrible froid, et combien il m'a enlevé de santé!

Cependant nous n'ajoutions pas entièrement foi aux paroles du courrier, qui m'avait dit encore, qu'il devait partir dans la nuit. Nous nous décidons à veiller et à nous partager les différentes rues du village; je prends celle du Commandant,

parce que l'Ostrog de mon mari se trouvait non loin de sa maison. Le froid était intense, j'entrais de temps en temps chez Alexandrine pour avaler une tasse de thé, elle était au centre de nos opérations, vis-à-vis de la prison de son mari, et faisait toujours tenir la bouilloire brûlante pour nous réchauffer. Minuit, une heure, deux heures, rien de nouveau. Enfin Catache arrive pour nous dire, qu'il y a du mouvement dans la maison de poste, et que l'on fait sortir les chevaux de l'écurie. Je cours à la prison de mon mari, où Kornilovitz se trouvait aussi, et je vois arriver les officiers et cosaques, qui disent à ce dernier d'emballer ses effets et de partir pour Pétersbourg. Je retourne chez Alexandrine et nous nous mettons toutes derrière une haie. La nuit était superbe, un clair de lune magnifique, nous nous tenions en silence, attendant toujours l'événement. Enfin nous voyons avancer au pas un kibitka, les clochettes attachées ne faisaient aucun bruit; les officiers de l'Etat-Major du Commandant marchaient derrière, et dès qu'ils furent près de nous, nous sortîmes à la fois et criâmes: «Bon voyage, M. Kornilovitz, que Dieu vous conduise! C'était comme un coup de théâtre, les messieurs de l'escorte n'en revenaient pas d'étonnement de ce que nous étions instruites de ce départ tenu dans le plus grand secret par eux. Le vieux Commandant y pensait longtemps après.

Kornilovitz ne revint pas. Après avoir subi un interrogatoire inutile, il fut envoyé dans une des forteresses de la Finlande, où il mourut quelques années après. C'était un homme d'un caractère ferme, et certes ce n'est point après l'avoir fait passer par toutes les humiliations et les peines morales possibles, qu'on devait espérer d'obtenir de lui des renseignements certains sur l'affaire, qui a épouvanté l'Empereur Nicolas jusqu'à ses derniers jours.

Peu à peu le reste des exilés arrivaient et se casaient en prison. On avait même amené deux Polonais dont l'un, M. Roukewitch, nous fit rire par ses gentillesse sarmates. A peine entré dans l'ostrog vis-à-vis de la maison d'Alexandrine, il se plaça près de la grille et se mit à chanter d'un

air sentimental (avec un accent polonais des plus prononcés) une vieille romance française: «Dans une tour obscure, un jeune roi languit». Il n'était ni jeune, ni beau, ni intéressant: cette prétention d'entonner un air français quand on n'en connaît pas la langue nous divertit infiniment.

Plusieurs des détenus dont le terme était venu furent expédiés aux colonies, c'est-à-dire délivrés des travaux forcés, mais dispersés sur la surface de la Sibérie: Lihareff, le comte Tchernicheff (frère d'Alexandrine), Lissovsky, Krivtsoff et d'autres. J'ai dû me séparer de la pauvre madame Entaltzeff, qui partit pour Beresoff, petite ville, la plus septentrionale du gouvernement de Tobolsk. Les adieux d'Alexandrine et de son frère furent déchirants; ils ne se revirent plus. Un an ou deux plus tard Tchernicheff fut envoyé comme soldat au Caucase. Nous nous occupâmes du troussau de ces messieurs, qui n'avaient personne pour les pourvoir de linge et d'effets. Le Commandant leur permit de faire leurs adieux aux dames.

### 1829.

Au 1<sup>er</sup> août 1829, grande nouvelle. Un courrier apporte l'ordre d'ôter les fers aux détenus. Nous nous étions si bien habituées à ce bruit de chaînes, que c'est même avec un certain plaisir, que je l'entendais, car il m'avertissait de l'approche de Serge aux entrevues...

Les premiers temps de notre exil, je pensais qu'il finirait sûrement au bout de cinq années, ensuite je me disais, que cela viendrait dans dix et puis dans quinze ans, mais après 25 ans, je n'y pensait plus. Tout ce que je demandais à Dieu c'était de tirer mes enfants de la Sibérie.

Ce fut à Tchita, que je reçus la nouvelle de la mort de mon pauvre Nicolas, de mon premier-né, laissé à Pétersbourg. Le poète Pouchkine m'envoya une épitaphe, qu'il avait composée pour lui:

Въ сияньи, въ радостномъ покой,  
У Трона Вѣчнаго Отца,  
Съ улыбкой онъ глядитъ въ изгнаніе земное,  
Благословляетъ мать и молитъ за отца...

Un an après j'appris la mort de mon père. Je m'y attendais si peu, cette secousse fut si forte, qu'il me semblait que le ciel avait croulé sur ma tête; j'en tombai malade. Le Commandant permit à Wolff, docteur et camarade de mon mari, de venir me voir, escorté de soldats et d'un officier.

Le bruit courait alors que le Commandant faisait bâtir, à 600 verstes de nous, une énorme prison avec des casemates sans fenêtres, cela nous attristait beaucoup. J'oubliais de dire ce qui nous inquiétait plus encore; l'année précédente la chaîne des forçats avait passé par Tchita, conduisant avec elle trois exilés: Soukhinine, le baron Solovieff et Mozgalevsky. Tous du régiment de Tchernigoff et camarades de feu Serge Mouravieff, ils avaient fait tout le voyage à pied avec des malfaiteurs. Ils nous firent avertir de leur arrivée, mon mari me dit d'y aller, de leur porter du secours, de tâcher de calmer Soukhinine, qui était très exalté par la situation, et de l'engager à la patience.

L'ostrog où s'arrêtait la chaîne des forçats était hors du village, à trois verstes de chez moi. Je réveille Catache et M-me Entaltzeff à la pointe du jour, et nous partons, comme de raison, à pied, par un froid horrible; nous faisons un grand circuit pour éviter les sentinelles et nous arrivons. Nous approchons de la grille, ces Messieurs étaient déjà là à nous attendre; il faisait encore assez sombre. Soukhinine était d'une exaspération à ne vouloir rien entendre de ce que nous lui disions, il ne parlait que de soulever les forçats à Nertchinsk, de ravenir vers Tchita et de délivrer les prisonniers d'Etat. Solovieff, très calme de caractère, très patient, me die que ce n'était qu'une exaltation passagère, qu'il se calmerait. Enfin, je m'en suis allée triste et inquiète. Mes prévisions ne se sont que trop réalisées. Soukhinine, à peine arrivé aux mines de Nertchinsk, se défia de ses camarades, ils s'en sépara et se confia aux malfaiteurs du lieu; ils s'armèrent tant bien que mal au nombre de 200 hommes et se retirèrent vers la frontière de Chine; mauvais calcul encore, car le Chinois livrent toujours au

Gouvernement russe tous les réfugiés qui se fient à eux. Ces pauvres fous ne coururent pas ce risque; ils furent tous pris par les cosaques, qui gardaient la ligne, et mis au secret. Un courrier fut envoyé à Sa Majesté, qui ordonna de les juger en 24 heures et de faire fusiller les plus coupables. Notre Commandant partit pour les mines, il remplit ponctuellement ce qui lui avait été ordonné. Soukhinine apprit sa condamnation la veille du jour désigné pour son exécution, et quand on vint ouvrir sa prison on le trouva mort, il s'était pendu à une poutre qui soutenait le plafond, la courroie qui soutenait ses fers lui tint lieu de corde. Tous les autres condamnés furent conduits hors du village, ils étaient au nombre de 20 et furent mis à mort, mais de quelle manière! On donna le signal aux soldats de tirer, mais leurs fusils étant vieux et rouillés et eux-mêmes ne sachant pas viser, ils manquaient leurs coups, blessant tantôt un bras, tantôt une jambe, enfin c'était un vrai martyre. Le lendemain le Commandant fit enterrer les morts, et quand tout le monde se fut retiré, il salua toutes les tombes, leur demandant pardon. Nous apprîmes tous ces détails de Solovieff et Mozgalevsky, qui furent amenés chez nous. Cela nous donna une profonde tristesse. Le Commandant revint sombre et découragé, il ne voyait que fuites et incendies, et il se pressa de faire achever la prison de Pétrowsk.

Alexandrine, qui recevait beaucoup d'argent secrètement de la part de sa belle-mère, soit par un domestique qu'on lui envoyait, soit par quelque autre moyen, se fit bâtir à l'avance une maison non loin de cette prison; c'est l'ingénieur chargé de la grande construction qui en fut chargé aussi, moyennant un riche cadeau. Comme Catache et moi, nous avions à peine de quoi vivre, nous n'y pensions pas, ni les autres dames non plus.

Pour vous donner une idée de la simplicité des moeurs de ce temps-là et vous distraire un moment de l'événement tragique que je viens de raconter, je vous dépeindrai une promenade que firent M-me Narichkine et M-me Entaltzeff, bien avant le départ de cette dernière pour Beresoff.

Ces deux dames étaient allées se promener hors du village, elles avaient fait sans s'en douter beaucoup de chemin, et arrivèrent à grand'peine au bord de la rivière qui les séparait du village. Mais il n'y avait pas de pont à cet endroit: comment faire pour passer? L'eau était basse, mais toujours il y en avait jusqu'à la ceinture. Elles aperçurent une nacelle (*думегубка*) et le prêtre du village s'apprettant à y entrer; elles le prièrent de leur faire passer la rivière; impossible, la nacelle était si petite qu'il n'y avait pas moyen de s'y tenir à trois. M<sup>me</sup> Entaltzeff ne veut pas rester en arrière; alors le prêtre leur dit de s'y placer à elles deux, et lui-même se met en devoir de retrousser ses chausses et le fait si bel et bien qu'il avait l'air d'un Hercule avec une draperie sur les reins. Il entre dans l'eau et pousse le bateau devant lui; la chose se fit si vite que nos deux dames n'eurent que le temps de détourner les yeux de ce spectacle.

La prison de Pétrowsk étant achevée, le Commandant fit dire aux détenus de se préparer au départ. Cette translation se fit à pied au mois d'Août; on faisait 30 verstes par jour et l'on se reposait le lendemain, tantôt dans les villages, tantôt chez les Bouriates dans les yourtes. Alexandrine et deux autres dames prirent les devants. M<sup>me</sup> Narichkine, M<sup>me</sup> Von-Wiesen et moi suivions la caravane à quelques heures de distance. On fit halte à 6 verstes de la ville de Verchnéoudinsk. Ce fut aux environs de cette ville que M<sup>me</sup> Rosen vint rejoindre son mari. C'était une excellente femme, quelque peu méthodiste; elle ne resta qu'un an avec nous à Pétrowsk et partit pour les colonies avec son mari, dans le gouvernement de Tobolsk. M<sup>me</sup> Youschniewska nous arriva à ce moment. Cette vieille dame avait mis six mois à venir de Moscou, s'arrêtant partout, trouvant des connaissances dans toutes les villes; on lui donnait des soirées, des promenades sur eau; enfin après s'être bien divertie elle apprend, que M<sup>me</sup> Rosen est à Verchnéoudinsk, la voilà qui fait venir un charriot de poste, se met dedans, et passe comme un éclair devant toute la caravane pour s'arrêter dans une maison de paysan, où son mari l'attendait. Cette dame avait



Елизавета Петровна  
Нарышкина.



Наталья Дмитриевна  
Фонвизина.

ses 44 ans, les cheveux blancs, mais conservait la gaîté de sa première jeunesse.

On se remit en route; nous trouvâmes le Commandant à la dernière station avant Pétrowsk, il nous remit nos lettres de Russie et des journaux. C'est alors que nous apprîmes la Révolution de Juillet; ce ne furent que chants et hourras toute la nuit parmi ces Messieurs; les sentinelles n'y comprenaient plus rien: comment, au moment d'entrer dans les casemates, ces Messieurs pouvaient-ils s'amuser à chanter? C'est que ces braves gens n'entendaient rien en politique.

#### Pétrowsky Zavod.

En approchant de Pétrowsk, je vis une immense prison en fer à cheval, avec un toit rouge; son aspect était sombre: pas une fenêtre à l'extérieur. On ne nous avait donc pas trompé en nous disant que la prison n'avait pas de fenêtres. J'avais négligé de vous dire que de Tchita toutes les dames avaient écrit au comte Benckendorff (chef des gendarmes), pour obtenir l'autorisation d'entrer en prison: la chose nous fut accordée. Comme Alexandrine avait sa maison prête, elle logea dehors, mais toutes les autres dames s'établirent dans les cellules de leurs maris pour quelques jours. Je fis acheter une petite maison de paysan pour ma femme de chambre et pour mon domestique. J'y allais pour faire ma toilette, pour prendre mon bain, et je me donnais le plaisir de dormir la nuit sous les verrous de la prison; c'était très effrayant, je vous assure, que ce bruit de clés: ce ne fut qu'au bout d'un an qu'on permit aux mariés de loger hors de prison. La chose la plus insupportable était l'absence de fenêtres: nous avions de la lumière tout le jour, ce qui fatigait les yeux. Chacune de nous arrangeait sa prison de son mieux. J'avais tendu les murs de la nôtre d'une étoffe de soie (mes draperies d'autrefois envoyées de Russie); j'y avais un piano, une bibliothèque, deux canapés, enfin c'était presque élégant. Nous écrivîmes toputes au comte

Benckendorff pour obtenir la permission d'avoir des fenêtres; cela nous fut accordé, mais notre vieux Commandant, devenu plus poltron que jamais, imagina d'en faire faire tout au haut du mur, sous le plafond. Nous logions déjà dans nos maisons, quand cette permission arriva. Ces Messieurs firent des estrades pour atteindre la fenêtre et pouvoir lire.

Notre cercle de dames augmenta par l'arrivée de Camille Le-Dantu, fiancée à M. Ivacheff; elle était la fille de la gouvernante de la maison, son fiancé l'avait connue à peine adolescente; c'était une charmante créature sous tous les rapports, Ivacheff se trouvait très heureux de l'épouser. Ce mariage se fit sous des auspices moins sombres que celui de M<sup>me</sup> Annenkoff: plus de fers aux pieds, le fiancé arriva en grand gala avec ses garçons de noce (quoique accompagnés de soldats sans armes). Je fus la mère d'honneur du jeune couple, toutes les dames l'accompagnaient à l'église, nous eûmes un thé chez les mariés et le lendemain un dîner. Enfin on commençait à revenir aux usages du monde, on ne travaillait plus à la cuisine, on avait des gens pour cela, mais le soldat était toujours là et devait accompagner le détenu partout où il irait, pour ne pas lui faire oublier qu'il était prisonnier. Il en était de même chez tous les mariés.

Ce fut cette année, en 1832, que tu vins au monde, mon adoré Micha, pour la joie et le bonheur de tes parents. Je fus ta nourrice, ta bonne et quelque peu ton institutrice, et quand quelques années plus tard Dieu m'accorda Nelly, ta soeur, mon bonheur fut complet. Je ne pensais plus qu'à vous, je n'allais presque plus chez mes compagnes. C'était un amour fou et de tous les instants pour vous deux.

Six mois après ta naissance, Alexandrine Mouravieff tomba malade. Wolff ne quittait plus sa chambre. Il fit l'impossible pour la sauver, mais Dieu en avait disposé autrement. Ses derniers moments ont été sublimes: elle a dicté ses lettres d'adieu à ses parents, et ne voulant pas réveiller sa petite «Nono», âgée de 4 ans, elle demanda sa poupée et l'embrassa pour elle. Après avoir rempli ses devoirs religieux en véritable sainte, elle ne s'occupa plus que de son

mari qu'elle consolait, qu'elle encourageait. Elle est morte à son poste, et cette mort nous plongea dans un découragement et une douleur profonde. Chacune se disait: «Que deviendront nos enfants sans nous?»

Ainsi commença à Pétrowsk une longue série d'années sans aucun changement dans notre sort. Ceux des détenus dont le terme était venu s'en allaient emportant les regrets de ceux qui restaient. Quelques dames partirent aussi: M<sup>mes</sup> Von-Wiesen, Rosen, Narichkine et Ivacheff. Cette dernière mourut aussi, mais bien jeune encore, aux colonies; son mari la suivit de près et sa mère qui était venue les voir emmena les orphelins en Russie.

Les détenus, en dehors des heures du travail de la Couronne, donnaient leur temps à l'étude, à la lecture, au dessin. N. Bestougeff fit une galerie de portraits de ses camarades. Il s'occupait aussi de mécanique; il fit des montres et des bagues. Bientôt chacune de nous eut un anneau des fers de son mari. Torson faisait des modèles de moulins, de machines à battre le blé; d'autres s'occupaient de menuiserie; ils nous envoyoyaient des tables à ouvrage, des boîtes à thé. Le prince Odoïevsky s'occupait de poésie; il fit de charmants vers, entre autres ceux que voici, en souvenir de ce que les dames venaient à la grille apporter des lettres et des nouvelles aux prisonniers:

Былъ край, слезамъ и скорби посвященный—  
Восточный край, где розовых зарей  
Лучъ радостный, на небѣ тамъ рожденный,  
Не услаждаль страдальческихъ очей;  
Гдѣ душень бытъ и воздухъ, вѣчно ясный,  
И узникамъ кровъ свѣтлый докучалъ,  
И весь обозръ обширный и прекрасный  
Мучительно на волю вызывалъ.

\* \* \*

Вдругъ ангелы съ лазури низлетѣли  
Съ отрадою къ страдальцамъ той страны,  
Но прежде свой пебесный духъ одѣли  
Въ прозрачныя земныя пелены,

И вѣстники благіе Провидѣнья  
Явилися, какъ дочери земли,  
И узникамъ съ улыбкой утѣшенья  
Любовь и миръ душевный принесли.

\* \* \*

И каждый день садились у ограды,  
И сквозь нее небесныя уста  
По каплѣ имъ точили медъ отрады.  
Съ тѣхъ поръ лились въ темницѣ дни, лѣта,  
Въ затворникахъ печали всѣ уснули,  
И лишь они страшились одного,—  
Чтобъ ангелы на небо не вспорхнули,  
Не сбросили бѣ покрова своего.

Ce pauvre Odoïévsky, après avoir achevé son terme de travaux forcés, partit pour les colonies près de la ville d'Irkoutsk, et plus tard son père obtint pour lui la grâce de servir comme soldat au Caucase, où il mourut bientôt après dans une expédition contre les Circassiens.

La prison se vidait petit à petit; ces Messieurs, quand leur tour arrivait étaient emmenés et dispersés comme colons en Sibérie même. Cette existence sans famille, sans amis, sans société aucune, devenait plus pénible que leur réclusion première.

Notre tour vint enfin: Wolff, Nikita et Alexandre Mouravieff et nous partîmes les uns après les autres afin de ne pas manquer les chevaux aux relais. Mon mari avait préalablement demandé d'être colonisé avec Wolff, médecin et son ancien camarade de service; j'y tenais beaucoup, désirant m'assurer les soins de cet excellent médecin pour enfants, et nous ne nous inquiétions même pas du lieu où le sort nous jeterait. Dieu prit pitié de nous et permit que nous puissions coloniser à Ourik, aux environs d'Irkoutsk, capitale de la Sibérie Orientale, village assez triste, mais dont le climat était supportable. Tout me parut bien, pourvu que j'eusse les soins de l'art en cas de nécessité pour mes enfants.

Nous avions encore dans le même village Michel Lounine, un vieux camarade de mon mari. Ne trouvant pas de maison de paysan habitable pour nous, car elles étaient

toutes occupées par ces Messieurs, nous allâmes à 8 verstes de là chez mon cousin Poggio, qui avait été amené de Schlusselbourg l'année précédente; il nous reçut à bras ouverts: il était d'autant plus heureux de notre arrivée qu'il avait subi huit ans et demi de réclusion solitaire dans l'affreuse prison que je viens de nommer. Pendant toutes ces longues années il n'avait vu que son geôlier et bien rarement le Commandant. On le laissait dans une complète ignorance de tout ce que se passait au dehors, il ne prenait jamais l'air et quand il demandait à la sentinelle: «Quel jour avons-nous?» On lui répondait: «Je n'en sais rien». C'est ainsi qu'il a ignoré la révolution de Pologne, celle de Juillet, les guerres en Perse et en Turquie et même le choléra; sa sentinelle était tombée raide morte, qu'il ne se doutait pas du fléau. Il voit un soir le reflet de la lune sur le mur extérieur de la prison, l'envie lui prend de la contempler, il grimpe sur sa fenêtre et passe sa tête à grand'peine dans un petit vasistas, enchanté de respirer l'air frais et de contempler le ciel constellé. Il entend des pas dans le corridor: effrayé de l'idée qu'on veut le surprendre, il rentre sa tête, ses oreilles l'en empêchent. Enfin après des efforts réitérés et de fortes écorchures, il y parvient, et depuis lors plus d'essais de ce genre. L'humidité de sa prison était tellement pénétrante que ses habits en étaient imprégnés; son tabac moisissait; sa santé s'en ressentait au point que toutes ses dents lui tombèrent l'une après l'autre, mais au moins il n'est resté que 8 ans, tandis que le pauvre Batenkoff fut détenu pendant plus de 20 ans à la forteresse, ne voyant pas âme qui vive, pas même le Commandant. Il en perdit l'usage de la parole et pour ne pas perdre l'esprit il lisait et relisait sa Bible, s'étant fait une règle de la traduire mentalement en plusieurs langues; tantôt c'était en russe, puis l'année suivante en français, puis en latin. Au sortir de prison il avait entièrement désappris de parler; on ne comprenait rien de ce qu'il voulait dire, et même ses lettres étaient inintelligibles. Cette faculté lui revint petit à petit. Avec tout cela il a conservé son calme, une sérénité d'humeur, une bonté parfaite; joignez-y la force de caractère

que vous lui connaissez, vous comprendrez ce que vaut cet homme supérieur.

Notre liberté aux colonies se bornait, pour ses Messieurs à aller se promener et chasser dans les environs; les dames pouvaient aller en ville pour leurs emplettes. Nos moyens d'existence étaient encore plus restreints qu'en prison. Je recevais à Pétrowsk dix mille roubles assignats, tandis qu'à Ourik l'on ne me donnait que deux mille. Nos parents, pour obvier à cette restriction, nous envoyoyaient sucre, thé, café et provisions de tout genre, ainsi que nos vêtements.

Nikita Mouravieff passait son temps à l'étude et à la lecture. Sa mère lui avait envoyé petit à petit toute sa bibliothèque: l'éducation de sa fille était son plus doux passe-temps.

Lounine menait une vie retirée; grand chasseur, il passait son temps dans les bois pendant la belle saison, mais en hiver il devenait plus sédentaire. Il écrivait beaucoup, s'amusant à lancer des plaisanteries contre le gouvernement dans les lettres à sa soeur. Il fit enfin des commentaires sur le compte-rendu du jugement prononcé contre ceux qui avaient trempé dans la révolution de Pologne. La chose transpira, et voilà qu'au beau milieu de la nuit douze gendarmes cernent sa maison, et plusieurs tchinovniks entrent pour le saisir. Le trouvant profondément endormi au retour d'une chasse, ils ne firent pas de cérémonies pour le réveiller, mais ils parurent inquiets de plusieurs fusils et pistolets suspendus au mur; l'un d'eux en témoigna sa peur, alors Lounine dit à un gendarme qui était près de lui: «Не беспокойтесь, такихъ людей бояться, а не убивать». C'est encore de lui qu'est le trait suivant. Le gouverneur général Zakréwsky était venu d'office visiter sa prison lors de sa première détention en Finlande. «Manquez-vous de quelque chose ici? lui demanda-t-il. Or la prison était affreuse: il y pleuvait, tant le toit était mauvais. Lounine lui répondit en souriant: «Je suis parfaitement content de tout: il ne me manque qu'un parapluie».

Lounine fut donc emmené, avec tout cet attirail militaire

déployé contre un seul homme, et enfermé à Akatouy, la plus affreuse des prisons, où étaient détenus ceux des criminels, qui avaient commis des récidives de meurtres et de brigandages. Il ne résista pas longtemps à l'air infect et humide de cette dernière prison, il y mourut au bout de quatre ans. C'était un homme d'une grande force de caractère, d'infiniment d'esprit, d'un enjouement, d'une bonté à toute épreuve, et profondément religieux. Son enlèvement nous attrista beaucoup; je lui fis parvenir des livres, du chocolat pour sa poitrine, et de prétdentes drogues, qui n'étaient que de l'encre en poudre avec quelques plumes d'acier dedans, car on lui avait tout ôté avec défense expresse de jamais écrire et de lire autre chose que la Bible.

J'oubliais de vous dire, que nous étions depuis longtemps installés à Ourik, la construction de notre maison n'ayant pris que quelques mois de temps. Il nous arrivait du monde de la ville pour consulter le docteur Wolff, on le faisait d'autant plus volontiers qu'il ne voulait accepter aucune rétribution.

Nous eûmes bientôt une frayeuse affreuse de voir nos enfants enlevés par ordre de Sa Majesté. Le gouverneur général Rupert fit chercher un jour mon mari. Nikita Mouravieff, Troubetskoy, qui habitait un village à 30 verstes de nous, et tous ceux de ces Messieurs qui étaient mariés. Je compris à l'instant qu'il s'agissait de nos enfants; ces Messieurs partirent, et ce que j'éprouvai d'angoisses, de tourments, jusqu'à leur retour, est impossible à rendre. Enfin je les vois revenir, et mon mari en descendant d'équipage me dit: «Tu l'avais pressenti, il s'agit des enfants: on veut les emmener en Russie, leur faire quitter leur nom de famille, et les placer dans des établissements d'éducation publique de la Couronne». — «Mais y a-t-il ordre de les enlever?» — «Non, l'Empereur le fait proposer aux mères de famille». Quand j'entendis cela, je me rassurai; le calme, la joie rentrèrent dans mon cœur. Je vous saisis dans mes bras en vous étouffant de caresses et en vous disant: «Non, vous ne me quitterez pas, vous ne renierez pas le nom de votre père». Cependant il avait balancé dans

son refus, disant n'avoir pas le droit d'empêcher votre rentrée en Russie, mais ce n'était qu'un excès de délicatesse envers vous. Il se rendit à mes instances et à ma conviction que bien au contraire vous pourriez nous reprocher un jour de vous avoir fait quitter votre nom sans votre consentement. Enfin tout rentra dans le calme, car les camarades de Serge avaient aussi envoyé leur refus au gouverneur général. Ce méchant homme, ne songeant qu'à faire preuve de zèle dans son service, fit son rapport à Sa Majesté comme quoi les prisonniers d'Etat étaient tellement enracinés dans leurs crimes, que loin d'être reconnaissants à Sa Majesté pour son offre paternelle, ils l'avaient pris avec hauteur. Or nous avions tourné notre refus de la manière la plus délicate, car vraiment c'était un bon mouvement qui avait poussé Sa Majesté à nous proposer d'élever nos enfants à ses frais, bien qu'il y eût mis des restrictions, qui tenaient à sa manière de voir les choses.

Cinq ans après mon Micha atteint ses 12 ans; je l'avais entouré à la fin de tout ce qui pouvait servir à son instruction. J'avais entre autres M. Sabinski, exilé polonais, possédant parfaitement le français et lui consacrant tout son temps sans la moindre rétribution. Je demandai à passe râ Irkoutsk, afin de lui faire suivre les cours d'études au gymnase. Le comte Orloff obtint la chose pour moi et je m'installai en ville. Mon mari eut la permission de venir nous voir deux fois par semaine, et quelques mois après de s'y installer tout-à-fait.

Les autres exilés eurent la même autorisation, du moins ceux d'entre eux qui étaient colonisés aux environs d'Irkoutsk. Ainsi se passèrent 19 ans encore dont les huit dernières années ne s'effaceront jamais de mon cœur reconnaissant, car ce n'était plus Roupert qui était gouverneur général, mais Nicolas Mouravieff, l'homme le plus loyal, et le mieux doué de la terre. C'est lui qui a ouvert l'océan Pacifique à la Russie, quand les Français et les Anglais lui enlevaient la mer Noire. Il a été aussi parfait pour nous que sa digne et excellente femme. C'est lui qui a développé tes facultés

morales pour le service de ton pays, Micha, et t'a poussé dans la voie de la patience et du travail intellectuel.

L'année du couronnement de l'Empereur Alexandre II nous fûmes tous rappelés, mais, hélas! de 121 membres de la société secrète, il n'en restait que douze ou quinze: le reste était mort ou tué au Caucase. Papa, comme vous le savez, fut reçu avec empressement, et par quelques-uns avec admiration à sa rentrée dans sa patrie.

La pauvre Catache était morte un an avant, elle a été vivement regrettée par ses enfants, ses amis et tous ceux auxquels elle a fait du bien.

Votre père, le plus généreux des hommes, n'a jamais eu un sentiment de rancune contre l'Empereur Nicolas; bien au contraire il rendait justice à ce qu'il avait de bonnes qualités, à sa fermeté de caractère, à son sang-froid déployé dans plusieurs circonstances de sa vie, ajoutant que dans tout pays l'on aurait sévi contre lui. Sur quoi je lui répondais que cela n'aurait pas été au même degré, car on ne condamne pas un homme aux travaux forcés, à la réclusion solitaire, et on ne lui impose pas 30 ans d'exil, rien que pour des opinions politiques et pour avoir été membre d'une société secrète. Car votre père n'avait pris part à aucun soulèvement, et même si dans leurs conciliabules on avait parlé de changement de gouvernement, il ne fallait pas prendre les paroles pour le fait. On dit bien autre chose maintenant dans tons les coins de Pétersbourg et de Moscou, et pourtant on n'arrête personne. Et si j'osais me prononcer sur les événements du 14 Décembre et sur la révolte du régiment de Serge Mouravieff, je dirais, que c'était intempestif: on ne lève pas le drapeau de la liberté, quand on n'a point les sympathies du soldat ni celles du peuple qui n'y entend rien encore. Ces émeutes ne seront jamais considérées dans les temps futurs que comme deux faits isolés.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Для примѣчаній использованы преимущественно неизданные документы и дѣла Государственного Архива, архива III отдѣленія, Военно-ученаго архива. Нѣкоторыя изъ дѣлъ III отдѣленія, изложенные кн. М. С. Волконскимъ въ его примѣчаніяхъ къ изданию «Записокъ кн. М. Н. Волконской», въ моемъ распоряженіи не оказались, и потому пришлось приводить ихъ въ изложеніи кн. М. С. Волконского. Цитаты на его второе издание (Спб. 1906) дѣлаются кратко «Записки.»

1.

Въ это время у Маріи Николаевны Волконской изъ четырехъ дѣтей осталось въ живыхъ только двое: Михаилъ Сергѣевичъ Волконский (род. 10-го марта 1832 года, умеръ въ Римѣ 7 декабря 1909 г.) и Елена Сергѣевна (род. 28 сентября 1835 года). Князь Михаилъ Сергѣевичъ, достигшій поста товарища ministra народнаго просвѣщенія, издалъ въ свѣтъ записки своего отца («Записки Сергѣя Григорьевича Волконского» (декабриста). Спб. 1901) и матери («Записки княгини Маріи Николаевны Волконской. Спб. 1904) съ своими примѣчаніями. Елена Сергѣевна была замужемъ въ первомъ бракѣ (съ 15 сентября 1850 года) за Дм. Вас. Молчановымъ (ум. въ 1857 году), который служилъ чиновникомъ при Н. Н. Муравьевѣ, сибирскомъ генералъ-губернаторѣ; во второмъ бракѣ—за Ник. Арк. Коцубеемъ и въ третьемъ—за Александромъ Алекс. Рахмановымъ. Упоминаемый нѣсколько ниже Сережа—сынъ Елены Сергѣевны и Дм. В. Молчанова, внукъ княгини Волконской.

2.

Князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій—сынъ князя Григорія Семеновича и княгини Александры Николаевны, урожденной Репниной. Ихъ дѣти — Николай Григорьевичъ, съ 1801 года, за прекрасеніемъ рода матери, принялъ, по Высочайшему указу, фамилію князя Репнина; Никита Григорьевичъ, женатый на известной княгинѣ Зинаидѣ Волконской, рожд. кн. Бѣлосельской-Бѣлозерской, и дочь Софья Григорьевна, бывшая замужемъ за

свѣтлѣйшимъ княземъ Петромъ Михайловичемъ Волконскимъ, министромъ двора.

Свѣдѣнія о воспитаніи, служебной дѣятельности и началѣ «вольномыслія» кн. Волконскаго можно почерпнуть изъ отвѣтовъ его на вопросы слѣдственной по дѣлу декабристовъ Коммисіи, данныхъ 23 апрѣля 1826 года и доселѣ неопубликованныхъ. Въ видахъ краткости текстъ вопросовъ, ясныхъ изъ самихъ отвѣтовъ, опускается.

...Зовутъ меня Сергеемъ, сыномъ Григорьевымъ, отъ рода имѣю 37 лѣтъ и четыре мѣсяца съ половиной...

...Православнаго греческаго исповѣданія, у Святого Причастія почти ежегодно бывалъ, а ежели не исполнилъ когда сей христіанской обязанности, то объявлялъ обѣ семъ на духу. Въ семъ году на шестой недѣлѣ поста былъ допущенъ къ исповѣди и причастію святыхъ таинъ.

...Учинилъ и самъ лично присягу нынѣ царствующему государю императору въ городѣ Умани, приводя къ присягѣ Штабъ 19-й пѣхотной дивизіи и полки прежде командуемой мною бригады, Азовскаго весь полкъ, а Днѣпровскаго шесть ротъ съ ихъ штабомъ.

...До 14-ти лѣтняго возраста получилъ образованіе въ родительскомъ домѣ; наставниками моими были, первоначально иностранецъ Фризъ, а по смерти его, россійской службы подполковникъ баронъ Калленбергъ, который также уже не въ живыхъ; съ 14-ти лѣтняго возраста былъ отданъ въ польскій пансіонъ въ Петербургъ, въ завѣдываніи главномъ аббата Николя состоящій, гдѣ я пробылъ до 18 лѣтъ. Кто же въ семъ пансіонѣ были учительями я поименно ихъ не называю, какъ извѣстныхъ по годовымъ отчетамъ министерству просвѣщенія. Въ 1798 году былъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ пансіонѣ у г-на Жакино, который, сколько могу припомнить, преподавалъ уроки французскаго языка въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ.

...Въ воспитаніи въ родительскомъ домѣ, такъ и въ пансіонѣ аббата Николя, занимался болѣе тѣми науками, которыя причастны къ военному искусству.

...Особенныхъ лекцій другихъ не слышалъ, какъ въ

1810 или 1811 году о военномъ искусствѣ у генерала-маиора Фуля.

...Полагаю, что до 1813 года не измѣнялъ тѣмъ правиламъ, которыя получиль въ родительскихъ наставленихъ и въ домашнемъ и публичномъ воспитаніи, и по собственному о себѣ понятію считаю, что съ 1813 года первоначально заимствовался вольнодумческими и либеральными мыслями, находясь съ войсками по разнымъ мѣстамъ Германіи и по сношеніи моемъ съ разными частными лицами тѣхъ мѣстъ, гдѣ находился. Болѣе же всего получилъ наклонность къ таковому образу мыслей во время моего пребыванія въ концѣ 1814 и въ началѣ 1815 года въ Парижѣ и Лондонѣ, какъ господствующее тогда мнѣніе.

...Какъ въ чужихъ краяхъ, такъ и по возвращеніи въ Россію, вкоренился сей образъ мыслей книгами, къ тому клонящимися. Но полагаю, что до 1822 года не имѣлъ никакой наклонности къ противозаконнымъ сужденіямъ или дѣйствіямъ. Вкорененіе же сихъ мыслей въ моемъ умѣ, какъ до 1822 года, такъ впослѣдствіи приписываютъ убѣжденію собственного моего разсудка, который отъ первоначально-благородной цѣли довелъ меня до истинно мною признаваемыхъ преступныхъ понятій и цѣли. Принявъ вышеизложеній образъ мыслей въ такихъ лѣтахъ, гдѣ человѣкъ начиналь руководствоваться своимъ умомъ, и продолживъ мое къ онымъ причастіе съ различными измѣненіями тринацать лѣтъ, я никому не могу приписывать вину, какъ собственно, себѣ, и ничими внушеніями не руководствовался...

...Съ малолѣтства считался ротмистромъ въ Екатеринславскомъ Кирасирскомъ полку, числясь въ отпуску до окончанія наукъ; въ концѣ 1805 года вступилъ въ дѣйствительную службу съ переводомъ поручикомъ въ Кавалергардскій полкъ и въ ономъ служилъ въ штабѣ Ротмистрскомъ и ротмистромъ въ чинѣ, какъ на-лицо въ полку, такъ и въ командировкахъ до конца 1810 года, въ которое время осчастливленъ былъ назначеніемъ фли-

гель-адъютантомъ нынѣ въ Бозѣ почивающаго блажен-  
ной памяти государя императора. Въ 1812 году произве-  
денъ въ полковники, а въ 1813 въ генераль-маиоры. По  
возвращеніи войскъ изъ-за границы въ 1814 году въ Рос-  
сию былъ назначенъ состоять при дивизіонномъ коман-  
дирѣ во 2-й драгунской дивизіи, но не былъ на лицо,  
быть отпущенъ за границу въ отпускъ, а по возвращеніи  
войскъ изъ-за границы въ 1815 году, назначенъ быть  
бригаднымъ командиромъ 1-й бригады 2-й уланской ди-  
визіи, гдѣ служилъ на лицо до перевода сей дивизіи въ  
Литовский корпусъ; былъ тогда переведенъ сперва бри-  
гаднымъ командиромъ, а потомъ по случаю отпуска за  
границу причисленъ при дивизіонномъ начальникѣ 2-й  
гусарской дивизіи, гдѣ я на лицо не находился, въ от-  
пуске же за границу не ъздила; окончательно же въ  
концѣ 1820 года назначенъ бригаднымъ командиромъ  
1-й бригады 19-й пѣхотной дивизіи, гдѣ служилъ на лицо,  
исключая временнаго отпуска, до 1826 года. Во время  
службы моей былъ въ компаніяхъ противъ непріятеля;  
въ 1805 и 1806 годахъ въ званіи волонтера при генераль-  
фельдмаршалѣ графѣ Каменскомъ, при генераль-лейте-  
нантѣ графѣ Остерманѣ и при главнокомандующемъ ар-  
міи баронѣ Бенигсенѣ; въ 1810 и 1811 году также въ  
видѣ волонтера при генераль-фельдмаршалѣ графѣ Ка-  
менскомъ, при генераль-лейтенантѣ графѣ Остерманѣ и  
при главнокомандующемъ арміи баронѣ Бенигсенѣ; въ  
1810 и 1811 году также въ видѣ волонтера при графѣ Ка-  
менскомъ 2-мъ и Голенищевѣ-Кутузовѣ въ молдавской  
арміи противъ турокъ. Въ 1812, 13 и 14 годахъ въ званіи  
дежурного при разныхъ частяхъ войскъ, въ разныя вре-  
мена ввѣряемыхъ генераль-адъютанту Винценгероду; и  
временно-дѣйствовалъ въ 1812 году съ партизанскимъ  
отрядомъ, состоя подъ командою генераль-адъютанта Го-  
ленищева-Кутузова.

...Во время моей службы былъ, но весьма рѣдко, пол-  
ковыми взысканіями оштрафованъ въ кавалергардскомъ  
полку; въ 1811 году по Высочайшему повелѣнію былъ

арестованъ на трое сутокъ домашнимъ арестомъ, безъ  
вноса сего штрафа въ формуляръ; въ продолженіи же  
моей службы подъ слѣдствіемъ или судомъ не былъ, а  
нынѣ по Высочайшему повелѣнію арестованъ 7-го января  
и отправленъ изъ Умани въ С.-Петербургъ съ фельдъеге-  
ремъ Тихановскимъ, а прибыль въ столицу 14-го января.

Дѣятельность князя Волконского по тайному обще-  
ству изложена въ слѣдующихъ чертахъ въ составлен-  
номъ вскорѣ по окончаніи слѣдствія и суда нарочито для  
собственного употребленія императора Николая «Алфа-  
витъ членамъ бывшихъ злоумышленныхъ тайныхъ об-  
ществъ и лицамъ, прикосновеннымъ къ дѣлу, произве-  
денному Высочайше учрежденною 17 декабря 1825 года  
Коммиссіею» <sup>1)</sup>.

...Принять въ Союзъ Благоденствія въ 1820 году, а  
по уничтоженіи онаго, присоединился къ обществу на  
югѣ. Участвовалъ въ совѣщаніяхъ въ Кіевѣ въ 1822 и  
въ 1823 и—въ деревнѣ Каменкѣ, гдѣ согласился какъ на  
введеніе республиканскаго правленія, такъ и на истре-  
бленіе всѣхъ особъ Императорской фамиліи. Будучи при-  
глашаемъ къ участію въ злоумышленіи при Бобруйскѣ  
(1823), онъ отказался. Въ 1823 и 1824 годахъ троекратно  
бывши въ С.-Петербургѣ, онъ имѣлъ порученіе открыть  
сношенія съ сѣвернымъ обществомъ, стараться соединить  
оное съ южнымъ и направить къ одной цѣли, причемъ  
нѣкоторымъ членамъ открылъ о преступныхъ намѣре-  
ніяхъ своего общества. Возвратясь въ 1824 года съ Кав-  
каза, онъ представилъ директоріи о мнимомъ существо-  
ваніи тайного общества въ кавказскомъ корпусѣ. Въ  
1825 году онъ участвовалъ въ переговорахъ съ депута-  
тами варшавской директоріи и на него возложено было  
сноситься о важныхъ происшествіяхъ, а по порученію  
Пестеля онъ ъздила въ Бердичевъ видѣться съ какимъ-то  
польскимъ генераломъ, коего, однако, тамъ не напелъ.

<sup>1)</sup> Алфавитъ находился постоянно на столѣ у Николая Павловича,  
а нынѣ хранится въ Государственномъ Архивѣ. Дальше онъ цитируется  
кратко—Алфавитъ.

Онъ совѣтовалъ отклонить предложеніе графа Витта о вступленіи въ общество. Слышалъ о предложеніи начать возмутительныя дѣйствія въ 1825 году покушеніемъ на жизнь покойнаго императора при смотрѣ 3-го корпуса и въ 1826 году,—овладѣвъ главною квартирой 2 арміи. Въ день проѣзда генераль-адъютанта Чернышева чрезъ Умань писалъ къ Пестелю, что онъ началъ приготавлять 19 дивизію принятіемъ членовъ; но при допросѣ въ Коммисіи увѣрялъ, что писалъ сіе во избѣженіе упрековъ за недѣятельность. Пестель, при самомъ арестованіи его, успѣль сказать Волконскому, чтобы спасали Русскую правду, о чемъ онъ сообщилъ Юшневскому и увѣдомилъ многихъ членовъ объ открытии общества. Сверхъ того, онъ имѣлъ поддѣльную печать предсѣдателя полевого аудиторіата, для раскрытия пакета по слѣдственному дѣлу о родственникѣ его, Михаилѣ Орловѣ. При всемъ томъ онъ отказался отъ сдѣланныхъ ему приглашеній, какъ отъ принятія участія въ злоумышленіи при Бобруйскѣ въ 1823 году, такъ и по открытии общества въ 1825, начать возмущеніе съ 19-й дивизіею, въ которой, несмотря на то что былъ начальникомъ Каменской управы, не дѣйствовалъ ни на привлеченіе къ обществу, ни на приготовленіе подчиненныхъ своихъ къ цѣли онаго... Въ отвѣтахъ былъ чистосердеченъ. По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 июля 1826 года Высочайше конфирмованному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу на 20 лѣтъ. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ 15 лѣтъ, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири...

О жизни Волконского на каторгѣ и въ ссылкѣ разсказано въ запискахъ княгини Волконской. Въ 1835 году, по всеподданнѣйшей просьбѣ матери Волконского, Волконскій былъ освобожденъ изъ каторжной работы и обращенъ на поселеніе. Сначала онъ жилъ въ Петровскомъ заводѣ Иркутской губерніи, затѣмъ той же губерніи въ селеніи Уриковскомъ и, наконецъ, въ Иркутскѣ. Только

въ царствованіе императора Александра II въ день коронаціи 26 августа 1856 года, всемилостивѣйшимъ манифестомъ были дарованы «государственному преступнику Сергею Волконскому и законнымъ дѣтямъ его, рожденнымъ послѣ приговора надъ нимъ, всѣ права потомственаго дворянства, только безъ почетнаго титула, прежде имъ носимаго, и безъ правъ на прежнее имущество, съ дозвolenіемъ возвратиться съ семействомъ изъ Сибири и жить, гдѣ пожелаетъ въ предѣлахъ Имперіи, за исключеніемъ С.-Петербурга и Москвы, подъ надзоромъ».

Волконскій пережилъ свою жену и скончался 28-го ноября 1865 года. Похороненъ онъ вмѣстѣ съ женой въ селеніи Воронкахъ, Черниговской губерніи.

3.

Отецъ М. Н. Волконской, стариkъ Раевский, 5 января 1826 года писалъ П. Л. Давыдову изъ Болтышки: «дочь моя Марія, 2-го числа родила сына благополучно; ты знаешь, что первыя 9-ть дней опасны. Малѣйшая тревога можетъ убить ее, мужъ ея при своемъ мѣстѣ, отлучиться ему нельзя. Женщинѣ же однихъ теперь оставить невозможно!».

4.

Фамилія, пропущенная въ подлинникѣ и обозначенная точками, — Башнякъ. Въ Донесеніи Слѣдственной Коммисіи онъ называется агентомъ графа Витта. Чиновникъ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, онъ былъ откомандированъ въ распоряженіе графа Витта и былъ употребленъ для разведокъ, подъ личиной заговорщика, среди членовъ тайного общества. За службу эту 31 декабря 1826 года Высочайше повелѣно было производить ему жалованья по 5000 рублей въ годъ.

11. листопада А. архівного об'єднання  
5. листопада 1824 року відповідь

Вас. Льв. Давыдовъ, братъ Н. Н. Раевскаго по матери, которая вышла, овдовѣвъ послѣ смерти Ник. Сем. Раевскаго, замужъ за Льва Денис. Давыдова. Род. въ 1796 году, учился дома у abbé Froment и въ пансіонѣ аббата Николя; началь службу въ л.-тв. Гусарскомъ полку, участвовалъ въ войнахъ 1812—1814 г.г., въ 1822 году уволенъ отъ службы, за ранами, полковникомъ. Въ «Алфавитѣ» сообщены слѣдующія о немъ свѣдѣнія:

...Вступилъ въ Союзъ Благоденствія въ 1820 году и, по уничтоженіи онаго, присоединился къ южному обществу, въ которое самъ принялъ четырехъ членовъ. Онъ не только былъ въ Кіевѣ на совѣщаніяхъ 1822 и 1823 года, но и совѣщанія сіи происходили у него въ домѣ, также и въ деревнѣ его—Каменкѣ. Онъ соглашался на введеніе республики, съ истребленіемъ государя и всего царствующаго дома, о чёмъ объявлялъ и принимаемымъ имъ членамъ. Бывши въ С.-Петербургѣ, имѣлъ порученіе согласить съверное общество дѣйствовать къ одной цѣли съ южнымъ; на сей конецъ сносился съ нѣкоторыми членами.—Онъ зналъ о сношеніяхъ съ польскимъ обществомъ и говорилъ, что оно принимаетъ на себя изведеніе цесаревича. Зналъ о заговорахъ противъ покойнаго императора въ 1823 году при Бобруйскѣ и въ 1824 г. при Бѣлой церкви, однако, въ 1825 году на контрактахъ въ Кіевѣ не одобрялъ предложенія о начатіи возмутительныхъ дѣйствій. О совѣщаніяхъ, бывшихъ потомъ въ лагерь, чтобы начать возмущеніе непремѣнно въ 1826 году, равно и о положеніи покуситься на жизнь императора въ Таганрогѣ ничего не зналъ. Впослѣдствіи слышалъ, что Артамонъ Муравьевъ клялся на евангеліи совершить сіе злодѣяніе; по кончинѣ же государя, не только зналъ о порывахъ Сергея Муравьевъ къ возмущенію, но по порученію Пестеля, намѣревавшагося сдѣлать то же, сообщилъ сочлену своему Янталыцову бытъ въ готовности.

По открытіи общества, подполковникъ Поджіо говорилъ ему о намѣреніи отправиться въ С.-Петербургъ, для покушенія на жизнь нынѣ царствующаго императора, но онъ сего не одобрилъ. Онъ былъ начальникомъ Каменской управы и ему поручено было дѣйствовать на военные поселенія, но тамъ никого не приглашалъ и даже, по недовѣрчивости, отклонилъ предложеніе графа Витта<sup>1)</sup> вступить въ общество.

По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 июня Высочайше конфирмованному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу вѣчно. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ 20 лѣть, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири.

Поступилъ въ каторжную работу въ Нерчинскіе рудники 27-го августа 1826 года. По окончаніи срока содержанія въ оной, по Высочайшему повелѣнію 10 июля 1839 года, обращенъ на поселеніе въ городѣ Красноярскѣ Енисейской губерніи. Здѣсь онъ и умеръ 25 октября 1855 г.

## 6.

Влад. Ник. Лихаревъ былъ въ свойствѣ съ Раевскими. Его сестра Варвара Ник. была второй женой Петра Льв. Давыдова, приходившагося по матери братомъ Н. Н. Раевскому-старшему. Кромѣ того, жена Лихарева—Екатерина Андреевна, рожд. Бороздина—была дочерью Софы Львовны, рожденной Давыдовой, сестрѣ Петр. Льв. Давыдовой. Наиболѣе обстоятельный свѣдѣнія о Лихаревѣ сообщены Б. Л. Модзалевскимъ въ «Архивѣ Раевскихъ» (т. II. Спб. 1909, стр. 494—498). Лихаревъ родился въ 1800 году, учился дома и затѣмъ въ Московскому учебномъ заведеніи для колонновожатыхъ; къ моменту своего

<sup>1)</sup> Графъ Виттъ, узнавъ о существованіи общества и, по соизволенію покойнаго Государя Императора, изъявилъ чрезъ Башняка желаніе свое вступить въ члены, въ намѣреніи открыть чрезъ то подробности заговора.

ареста, былъ подпоручикомъ квартирмейстерской части. Въ «Алфавитѣ» содергатся слѣдующія свѣдѣнія объ участіи Лихарева въ тайномъ обществѣ: ...Былъ членомъ южнаго общества, но сокровенной цѣли не зналъ. Разговоры о введеніи республиканскаго правленія иногда слышалъ, однако, не считалъ ихъ слѣдствиемъ намѣренія, принятаго обществомъ. Онъ зналъ, что сѣверное и польское общество сносились съ южнымъ, и что послѣ арестованія Пестеля, подполковникъ Поджіо писалъ къ князю Волконскому о возмущеніи 19-й дивизіи. Ему читали предположеніе Поджіо — какимъ образомъ начать возмутительныя дѣйствія и куда слѣдоватъ. Слышалъ, когда Поджіо сказалъ: работайте здѣсь, а я вамъ отвѣчаю, что въ такой-то день государя не существуетъ. Также: что если теперь ничего нельзя сдѣлать, то подождемъ коронацію, тогда вся императорская фамилія соберется и будетъ удобный случай для покушенія. Прежде же того о сихъ ужасныхъ замыслахъ никогда при немъ говорено не было. Онъ сочинилъ взглядъ на военные поселенія въ духѣ общества. Коллежскій совѣтникъ Бонч-Якъ показалъ, что Лихаревъ, сообщивъ ему свѣдѣнія о своемъ обществѣ и вспомнивъ, что онъ другъ графа Витта, грозилъ ему, въ случаѣ измѣны, ядомъ и кинжаломъ; но Лихаревъ въ семъ не сознался.

По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 іюля 1826 года Высочайше конфирмованному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу на два года. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ одинъ годъ, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири.

Поступилъ въ каторжную работу въ Нерчинскіе рудники 4-го апрѣля. По Высочайшему повелѣнію въ апрѣль 1828 года, обращенъ на поселеніе въ г. Кондинскъ, Тобольской губ., въ іюнь 1837 года опредѣленъ въ Отдельный Кавказскій корпусъ рядовыми. Поступилъ въ Куринскій Егерскій полкъ, 23-го іюля 1837 года. 10 іюля 1840 г. убитъ въ сраженіи съ горцами.

Не задолго до катастрофы Лихаревъ женился на дочери сенатора Андрея Мих. Бороздина — Екатеринѣ Андреевнѣ (ея сестра Марія одновременно вышла замужъ за Иосифа Поджіо). Жена его не послѣдовала за нимъ въ ссылку и вышла замужъ. Тоска по женѣ и по ребенкѣ, который родился у нея, когда Лихаревъ былъ уже въ ссылкѣ, отравила сибирскіе годы Лихарева. Полковникъ корпуса жандармовъ Масловъ, отправленный по Высочайшему повелѣнію въ Сибирь для собранія свѣдѣній о ссыльныхъ государственныхъ преступникахъ, доносилъ въ 1829 году о Лихаревѣ:

«Лихаревъ болѣе всѣхъ оказываетъ раскаянія въ свое преступленіи; писемъ его не возможно читать безъ глубочайшаго умиленія и состраданія. Онъ старается успокаивать и даже развеселять родственниковъ, и въ особенности жену, которую онъ любить страстно, какъ и младенца сына своего. Онъ изъ послѣдняго разряда осужденныхъ въ каторгу, и поступилъ изъ оной съ прочими на поселеніе. У него на лицѣ изображается терзаніе совѣсти и укоризнъ вины его. Обстоятельства родственныя и дружескія связи съ злоумышленниками причинили ему погибель. Участь свою онъ переносить съ тою твердостію, какъ Фурманъ, и совершенно убить своимъ положеніемъ. Слабое тѣлосложеніе его не обѣщаетъ долговѣчности. Утѣщеніе находитъ онъ въ религіи, помогаетъ бѣднымъ поселянамъ, пользуется съ успѣхомъ больныхъ, и жители отзываются о немъ, какъ о добромъ человѣкѣ. Обыкновенныя занятія его: чтеніе и рисованіе».

7.

Два брата Поджіо — старшій Иосифъ, младшій Александръ — дѣти итальянскаго аристократа, эмигрировавшаго изъ Пьемонта въ Одессу. Объ Иосифѣ Викторовичѣ въ «Алфавитѣ» читаемъ:

«Принять въ южное общество въ 1826 году. Знать цѣль — введеніе республиканскаго правленія, съ истре-

бленіемъ всей императорской фамиліи. Слышалъ о намѣреніяхъ покуситься на жизнь покойнаго государя въ 1823 году при Бобруйскѣ и въ 1824 году при Бѣлой Церкви, гдѣ онъ при разговорѣ съ Бестужевымъ-Рюминымъ, избѣгая ложнаго стыда,—казаться робкимъ, вызывался вестъ заговорщиковъ на цареубійство и дѣйствительно думалъ сіе исполнить, но вскорѣ раскаялся. Когда Бестужевъ-Рюминъ говорилъ, что хотя общество намѣревается истребить всю царствующую фамилію, но должно лишить жизни одного только государя, а прочихъ изгнать, то Поджіо поставилъ въ примѣръ Людовика XVIII, который возвратился во Францію и вновь овладѣлъ престоломъ. Кромѣ разговоровъ его съ членами общества онъ никакого содѣйствія въ пользу оного не окказалъ и въ совѣщеніяхъ не былъ. Водимый раскаяніемъ, онъ въ отвѣтахъ былъ весьма чистосердеченъ и даже не скрылъ обстоятельствъ, служившихъ къ вячшему обвиненію брата его: какъ то о письмѣ, которое посыпалъ сей послѣдній къ князю Волконскому, возбуждая его къ возмущенію 19 дивизій, для освобожденія Пестеля; также о намѣреніи его отправиться въ С.-Петербургъ, для покушенія на жизнь нынѣ царствующаго императора, а наконецъ, о признанной имъ возможности истребить всю императорскую фамилію въ Москвѣ во время коронаціи.

По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 іюля 1826 года высочайше конфirmedованному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу на 12 лѣтъ. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить въ каторжной работѣ 8 лѣтъ, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибирь.

По Высочайшему повелѣнію, въ октябрѣ 1827 года, посаженъ въ Шлиссельбургскую крѣпость.

9-го іюля 1834 года, по окончаніи опредѣленнаго ему заточенія, по Высочайшему повелѣнію, отправленъ изъ крѣпости на поселеніе, Иркутской губерніи въ село Усть-Кудинское.

Умеръ 8-го января 1848 года.

Іосифъ Викторовичъ быль женатъ на Марьѣ Андреевнѣ Бороздиной, приходившейся двоюродной племянницей княгинѣ М. Н. Волконской. Неожиданная и жестокая замѣна каторги одиночнымъ заключеніемъ въ крѣпости была результатомъ хлопотъ его тестя сенатора Бороздина, который не желалъ, чтобы его дочь послѣдовала за мужемъ въ ссылку. Въ архивѣ III отдѣленія есть указанія на то, что жена и мать Поджіо неоднократно запрашивали высшее начальство о мѣстопребываніи мужа и сына, и III отдѣленіе извѣщало ихъ, что оное неизвѣстно.

Объ Александрѣ Викторовичѣ «Алфавитъ» сообщаетъ:

«Принять въ южное общество въ 1823 году и самъ принять двухъ членовъ. Въ томъ же году при возстаніи общества въ С.-Петербургѣ, участвовалъ въ совѣщеніяхъ и составляль для оного новыя правила, въ коихъ помѣстиль, между прочимъ, что при возстаніи всѣ должны соединиться подъ знамена свободы.

При переговорахъ южнаго общества съ сѣвернымъ о принятіи республиканской цѣли съ истребленіемъ царствующаго дома, не только самъ одобряль сю мѣру, но передавалъ другимъ и говорилъ, что симъ должно начать самый приступъ къ дѣйствію. Онъ считалъ съ Пестелемъ особъ императорской фамиліи, обрекаемыхъ на жертву. По арестованіи Пестеля онъ намѣревался начать возмущеніе, письмомъ склоняль къ тому князя Волконскаго и говориль съ другими членами, предполагая напасть на Тульчинъ и арестовать первыхъ лицъ главной квартиры 2-й арміи; а потомъ думалъ отправиться къ Сергѣю Muравьеву-Аpostолу, ожидая, что онъ начнетъ дѣйствія. Замышляль ѿхать въ Ригу, чтобы возбудить къ возмущенію полковника Вольского и—въ С.-Петербургѣ для умерщвленія нынѣ царствующаго государя императора. Получивъ отрицательный отвѣтъ Волконскаго, сказалъ, что при коронаціи будетъ случай приступитьъ къ покушенію на жизнь царской фамиліи. Онъ вообще является пламеннымъ членомъ, неукротимъ въ словахъ и сужденіяхъ. Онъ слышалъ о покушеніяхъ на

жизнь покойнаго императора въ 1817 году въ Москвѣ, въ 1823 при Бобруйскѣ и въ 1824 при Бѣлой Церкви. Въ 1824 году видѣль донесеніе Бестужева-Рюмина о сношенніяхъ съ польскимъ обществомъ, отъ коего требовано умертвить цесаревича. Онъ одобряль мѣры, — избрать надежнѣйшихъ 12 человѣкъ для изведенія царствующей фамиліи.

По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 іюля 1826 года высочайше конфирмованному, осужденъ къ лишенню чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу вѣчно. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ 20 лѣть, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири.

Поступилъ въ каторжную работу въ Нерчинскіе рудники, 4-го января 1827 года.

По окончаніи срока содержанія въ оной, по Высочайшему повелѣнію 10-го іюля 1839 года, обращенъ на поселеніе въ сел. Усть-Куда, Иркутской губерніи.

Любопытно, что А. В. Поджю, разочаровавшись въ возможности общественной дѣятельности въ Россіи, вышелъ въ 1823 году въ отставку и передъ катастрофой собирался уѣхать навсегда въ Америку. Находясь въ Сибири, Поджю занялся педагогической дѣятельностью и стяжалъ симпатіи всѣхъ приходившихъ съ нимъ въ со-прикосновеніе высокимъ благородствомъ характера, страстью увлекающейся натуры и идеализмомъ настроенія. Въ 1913 году въ журналѣ «Голосъ Минувшаго» были напечатаны его любопытнѣйшія размышленія о прошломъ.

Умеръ Поджю 6 іюля 1873 года въ Воронкахъ, Черниговской губерніи.

8.

Въ вступительной статьѣ (стр. 24) сказано, чѣмъ окончилось привлеченіе братьевъ Раевскихъ къ слѣдствію по дѣлу Раевскихъ. Дѣла обѣихъ, хранящіяся среди слѣдственного производства въ Государственномъ Архивѣ,

еще не изданы. Знакомство съ ихъ отвѣтами на допросахъ приводить къ заключенію, что они держались съ рѣдкимъ достоинствомъ. Для характеристики Александра Раевскаго, пушкинскаго демона, любопытно привести его отвѣты. Текстъ вопросовъ, ясныхъ изъ отвѣтовъ, не приводится.

1. Никогда не принадлежалъ никакому тайному обществу.

2. Полковника Пестеля я видѣлъ на кievскихъ контрактахъ и, кромѣ обыкновеннаго знакомства, съ нимъ сношеній не имѣлъ.

3. Ничего не зналъ.—Съ княземъ Волконскимъ, кромѣ родственныхъ, сношеній не имѣлъ и весьма рѣдко съ нимъ видѣлся, потому что по большей части я жилъ въ Бѣлой Церкви, а онъ—въ Умани. Прошлаго года въ концѣ Іюля я пробылъ въ его домѣ въ Одессѣ около трехъ недѣль съ матерью и сестрами, никогда почти не находился наединѣ съ княземъ Волконскимъ и политическихъ разговоровъ съ нимъ не имѣлъ. Съ Василемъ Львовичемъ Давыдовымъ я очень рѣдко видѣлся; раза два въ годъ и пріѣзжалъ въ М. Каменку съ почтеніемъ къ покойной бабкѣ и то на два, на три дня; кромѣ обыкновенныхъ, разговоровъ съ В. Л. Давыдовымъ никакихъ не имѣлъ, сколько могу помнить, тѣмъ болѣе, что нравы наши не согласились между собою.

4. Не зналъ ничего о тайномъ обществѣ, ничего не могу отвѣтить на сей вопросъ.

5. Духъ новизны я замѣтилъ уже давно и приписывалъ его вліянію чтенія французскихъ политическихъ книгъ.—Я уже шесть лѣть живу почти безвыѣздно въ Киевской губерніи; видѣлъ тѣхъ особъ, которые принимались въ домѣ моего отца; связей съ поляками никогда не имѣлъ, а предполагаю, что они старались внушить духъ неудовольствія, потому что они одни могли найти выгоды во внутреннихъ беспорядкахъ Россіи, чтобы воспользоваться оными и отъ насъ отложитьсь. Польские помѣщики, люди праздные, неслужащіе, болѣе русскихъ

ѣздить въ чужie края и тамъ напитываются мыслями, никакъ неприличественными для Россіи; къ тому же возстановленіе польского царства и данныя оному представительныя конституціи возвысили надежды, утвердили видомъ законности ихъ желанья; потому то я всегда считалъ, что сіи мѣры нанесли большой вредъ Россіи: онъ никого съ нами не мирили, родили чувства зависти, и мысли неприличная нашему отечеству.—Я поступилъ бы противъ совѣсти и чести, если-бъ назвалъ кого изъ знакомыхъ помѣщиковъ, потому что съ поляками, кромѣ весьма обыкновенныхъ отношеній знакомства, связей никогда не имѣлъ; а разсужденія мои основаны на догадкахъ и вышепоясненномъ положеніи вещей.

6. Я замѣтилъ большую перемѣну мыслей со времени возвращенія моего изъ Франціи въ 1819 году; приписывалъ оное, какъ я выше сказалъ, вліянію французскихъ книгъ и возстановленію царства польскаго.—Я замѣтилъ, что вообще читали болѣе прежняго газеты и разсуждали болѣе о предметахъ политическихъ, но всѣ мои на то познанья такъ глухи и общественны, что никого назвать не могу.

7. Мысли въ человѣкѣ образуются не разомъ, особенно въ головахъ молодыхъ и неопытныхъ; я себя никакъ не могу исключить общему сему закону; но могу удостовѣрительно сказать, что вотъ уже четыре года, что я непоколебимо увѣрился, что для Россіи нѣть приличнѣе правленія самодержавнаго: столь многочисленныя племена различныхъ вѣръ и нарѣчий, столь обширное пространство и малое просвѣщеніе не терпятъ другого образа правленія, какъ самовластнаго, родъ правленія, которому Россія обязана и своей славой и могуществомъ. Опасаюсь только, чтобы нѣсколько миллионовъ крѣпостныхъ крестьянъ, нетерпѣливо ожидавшіе освобожденія, не были-бъ причиной большихъ безпорядковъ; далѣе я не могу вступать въ разсужденія о способахъ, какъ освободить оныхъ крестьянъ безъ ущерба выгодъ помѣщиковъ и нарушенія общаго спокойствія.—Не имѣвъ ни съ кѣмъ связи, я мало

говорилъ о политическихъ предметахъ, мыслей своихъ почти не сообщаю, жиль уединенно съ своимъ семействомъ и симъ обстоятельствамъ приписываю счастье не получать никакихъ предложенийъ къ вступленію какого то ни было тайного общества.—Къ тому же будучи всегда больнымъ, отъ того угрюмого нрава и человѣкомъ безъ всякаго вліянія, я не могу и придумать, чѣмъ я бы могъ быть полезенъ тайному обществу. 15 января 1826 года. С.-Петербургъ.

9.

Наблюдавшій за исполненіемъ казни ген.-ад. Голенищевъ-Кутузовъ 13 іюля 1826 года доносилъ Николаю Павловичу: «Экзекуція кончилась съ должной тишиной и порядкомъ какъ со стороны бывшихъ въ строю войскъ, такъ со стороны зрителей, которыхъ было немного. По неопытности нашихъ палачей и неумѣнію устраивать висѣлицы, при первомъ разѣ трое, а именно: Рыльевъ, Каховскій и Муравьевъ сорвались, но вскорѣ опять были повѣшены и получили заслуженную смерть. О чёмъ В. И. В. всеподданѣйше доношу».

10.

17 іюля 1826 года Начальникъ Главнаго Штаба сообщалъ Военному Министру Высочайшее повелѣніе:

«Изъ числа приговоренныхъ въ каторжную работу, 8 человѣкъ, а именно: Сергея Трубецкого, Евгения Оболенскаго, Артамона Муравьева, Василия Давыдова, Якубовича, Сергея Волконскаго, Борисова 1-го и Борисова 2-го отправить немедленно закованными въ двухъ партіяхъ, имѣя при каждомъ преступникѣ одного жандарма и при каждыхъ четырехъ одного фельдъегера, въ Иркутскъ къ гражданскому губернатору Цейдлеру, коему сообщить Высочайшую волю, дабы сіи преступники были употреб-

блляемы, какъ слѣдуетъ, въ работу, и поступлено было съ ними во всѣхъ отношеніяхъ по установленному для каторжниковъ положенію; чтобы онъ назначилъ, для неослабнаго и строгаго за ними смотрѣнія, надежнаго чиновника, за выборъ коего онъ отвѣтствуетъ, и чтобы онъ о состояніи ихъ ежемѣсячно доносилъ въ собственные руки Его Величества черезъ Главный Штабъ».

По Высочайшей волѣ преступники отправлялись не черезъ Москву, а по Ярославскому тракту, подъ отвѣтственностью губернаторовъ, съ тѣмъ, чтобы о поведеніи и содержаніи оныхъ преступниковъ они доносили въ собственные руки Его Величества черезъ Главный Штабъ.

11.

Жена князя Никиты Григорьевича (1782—1840), княгиня Зинаида Александровна Волконская (1792—1862), дочь кн. А. М. Бѣлосельского-Бѣлозерского и А. Г. урожд. Козицкой, пользовалась въ свое время громкой извѣстностью, какъ одна изъ самыхъ блестящихъ женщинъ эпохи. Послѣ придворныхъ тріумфовъ, въ особенности на Веронскомъ конгрессѣ, княгиня поселилась въ Москвѣ. Ея домъ здѣсь сталъ блестящимъ салономъ, литературнымъ и аристократическимъ. Перечислить лицъ, посѣщавшихъ ея литературные вечера, концерты, значило бы назвать почти всѣхъ представителей литературного и аристократического міра: Пушкинъ, Жуковскій, кн. Вяземскій, А. Мицкевичъ, Д. Н. Веневитиновъ и т. д. Ее восхвалили Пушкинъ, Баратынскій, Веневитиновъ, Мицкевичъ. Сама она была женщина разностороннихъ талантовъ: она писала стихи и прозу, великолѣпно играла и пѣла, сочиняла оперы. Пушкинъ, посыпая ей поэму «Цыгане», писалъ ей:

Среди разсѣянной Москвы,  
При толкахъ виста и бостона,  
При бальномъ лепетѣ молвы  
Ты любишь игры Аполлона.

Царица музъ и красоты,  
Рукою нѣжной держишь ты  
Волшебный скипетръ вдохновеній,  
И надъ задумчивымъ челомъ,  
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнкомъ,  
И вѣстя и пылаешь геній....

12.

Кн. М. С. Волконскій сообщаетъ, что этотъ священникъ о. Петръ Громовъ, бывшій впослѣдствіи настоятелемъ Петровскаго Завода, оставилъ въ заключенныхъ благодарную память (Записки, 36).

13.

Александръ Николаевичъ Муравьевъ (1792—1864) братъ Николая Николаевича (Карского), графа Михаила Николаевича (Виленского) и Андрея Николаевича (писателя по церковнымъ вопросамъ) принималъ участіе только въ «Союзѣ благоденствія» и вышелъ изъ него еще до распаденія его въ 1821 году; поэтому онъ отдѣлся сравнительно легко—сылкой въ Верхнеудинскѣ Восточной Сибири безъ лишенія правъ. Въ 1828 году онъ уже городничимъ въ Иркутскѣ, въ 1831—предсѣдателемъ Иркутскаго Губернскаго Правленія, въ 1833—Тобольскимъ гражданскимъ губернаторомъ, въ 1834—предсѣдателемъ Вятской Уголовной Палаты, въ 1835—предсѣдателемъ Симферопольской Уголовной Палаты, въ 1837—Архангельскимъ губернаторомъ и т. д. Нѣкоторое время былъ нижегородскимъ губернаторомъ и умеръ въ чинѣ сенатора въ Москвѣ.

14.

Кн. М. С. Волконскій на основаніи архивныхъ материаловъ приводитъ слѣдующія любопытныя данныя о перчинской жизни декабристовъ и ихъ женѣ (Записки, 142 и сс.).

Отправленные изъ Иркутска восемь человѣкъ прибыли въ Нерчинскіе заводы и 25-го октября 1826 года были помѣщены въ Благодатскомъ рудникѣ, въ 12 верстахъ отъ главнаго Нерчинскаго завода. Управляющій горною конторою и всѣми рудниками, маркшайдеръ Черниговцевъ, доносить объ этомъ начальнику Нерчинскихъ заводовъ 26-го октября, прибавляя, что «всѣ означенныесъ восемь «человѣкъ размѣщены по принадлежности на Благодат-«скомъ рудникѣ, что всѣ они ремесла никакого за собой «не имѣютъ, кромѣ Россійскаго языка и прочихъ наукъ, «входящихъ въ курсъ Благороднаго воспитанія; нѣкото-«ры знаютъ иностранные языки, на каковыхъ написаны «ими самими за подпискою прописи, которая съ засви-«дѣтельствомъ моимъ при семъ также представляются». При этомъ Черниговцевъ представляетъ перепись вещамъ каждого изъ нихъ, въ которыхъ находятся, между прочимъ, у каждого: образъ, Евангелие, «трудные» кресты, бѣлье, платье, въ ограниченномъ количествѣ, нагольные тулупы, у нѣкоторыхъ чугунныя распятія; изъ книгъ: календари и пр. Часть вещей при нихъ оставлена, другая, въ томъ числѣ деньги, въ ничтожномъ количествѣ, отобраны на храненіе. Относительно ихъ содержанія и употребленія въ работы сдѣлано губернаторомъ Цейдлеромъ, 27 августа 1826 года, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, распоряженіе начальнику заводовъ Бурнашеву, «чтобы сіи преступники были употребляемы, какъ слѣ-«дуетъ, въ работу, и поступлено было съ ними во всѣхъ «отношеніяхъ по установленному для каторжныхъ поло-«женію, чтобы былъ назначенъ для неослабнаго за ними «смотрѣнія надежный чиновникъ, и чтобы о состояніи «ихъ ежемѣсячно доносилось въ собственныя руки Его «Величества черезъ Главный Штабъ». При этомъ губер-«наторъ Цейдлеръ указываетъ, между прочимъ, чтобы «рудникъ быль для нихъ избранъ въ сторонѣ отъ боль-«шихъ дорогъ и не близко къ границѣ «Китайской», чтобы «содержаніе ихъ было обеспечено, дабы не допускать ихъ «до свободы, которую каторжные по окончаніи работъ

«имѣть для снисканія себѣ вольными работами средствъ «къ содержанію подкѣплѣнія»<sup>1)</sup>.

Закованные въ кандалы, арестанты работали въ подземныхъ шахтахъ, спускаясь въ нихъ въ пять часовъ утра и оставаясь до одиннадцати дня. Норма выработки руды полагалась въ три пуда на каждого. Эта работа, сравнительно облегченная, была установлена въ ноябрѣ 1826 года, по распоряженію генерал-губернатора Восточной Сибири, сообщенному Т. С. Бурнашеву губернаторомъ Цейдлеромъ, который писалъ: «Нынѣшній порядокъ обѣ упо-« требленіи ихъ въ работу признаю нужнымъ перемѣнить, «и потому распорядиться, чтобы они были употреблены въ «работу одну смѣну въ сутки, посыпать ихъ безъ изну-«ренія, и съ обыкновенными льготными днями, но над-«зоръ за ними усугубить».

Приведемъ нѣкоторыя свѣдѣнія о нихъ, взятыя изъ отмѣтокъ, представляемыхъ ближайшими тюремными надзирателями начальнику Нерчинскихъ заводовъ Бурнашеву, при особыхъ рапортахъ. Послѣдніе посылались, по его распоряженію, еженедѣльно, съ приложеніемъ составлявшихся ежедневно «Списковъ о поведеніи, занятіяхъ и здоровье государственныхъ преступниковъ», которые ярко рисуютъ жизнь и занятія ихъ за этотъ періодъ вре-мени. «Вели себя», говорится въ одномъ изъ списковъ, «добропорядочно, при производствѣ работъ были при-«лѣжны и ничего противного не говорили, къ поставлен-«нымъ надъ ними смотрителямъ были послушны, харак-«теръ показывали скромный, въ квартирахъ своихъ ни-«какихъ въ чёмъ-либо ропотныхъ словъ не говорили, «кромѣ словъ чувствительныхъ, раскаяніе въ своихъ пре-«ступленіяхъ изъявляющихъ». Въ декабрѣ 1826 года: «Сергѣй Трубецкой одержимъ трудною и внутреннею бо-«лѣзнью, какъ кажется, чахоткою, одержимъ кровохар-«каніемъ, чувствуетъ великую слабость въ груди». 16-го «февраля 1827 года: «Сергѣй Трубецкой и Сергѣй Вол-

<sup>1)</sup> Архивъ III Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи.

Записки кн. М. Н. Волконской.

«конский»,—сь пріѣзомъ женъ,—«сдѣлались примѣрно «веселы». 1-го апрѣля 1827 года: «Съ 22-го марта Сергѣй Волконскій былъ нездоровъ простудной горячкой». Мартъ 1827 года: «Сергѣй Трубецкой и Сергѣй Волконскій на-«выкаютъ къ роду нынѣшней жизни, больше бывають «спокойны, но Волконскій, по слабому здоровью, чаше «задумчивъ». 1-го апрѣля 1827 года, противъ имени Артамона Муравьева: «Съ полученiemъ имъ письма (27 «марта) отъ его жены «душевно страдаетъ». 28-го февраля: «Сергѣй Волконскій для свиданія съ женою въ работу «посылаемъ не былъ». «Сергѣй Трубецкой и Сергѣй Вол-«конскій, 14-го числа сего марта, для свиданія съ женами, «въ работу не посыдались». «17-го и 20-числа марта Тру-«бецкой и Волконскій съ женами ихъ имѣли свиданія». «23-го, 26-го и 29-го числа марта Трубецкой и Волконскій «съ ихъ женами имѣли свиданія». Противъ имени Александра Якубовича: «Часто жалуется на боль въ головѣ «(отъ раны въ черепѣ, полученной на Кавказѣ) и груди, «но въ работу ходить безъ ропота, уныль, иногда и бы-«ваетъ весель, но съ большимъ принужденiemъ». Въ мартѣ мѣсяцѣ: «Сергѣй Волконскій и другie работали въ горѣ, «въ Крещенскомъ провалѣ прилежно и старались быть «веселыми, работали съ великимъ терпѣniемъ». О брат-«яхъ Борисовыхъ повторяются слѣдующіе отзывы: «Всегда «печальны, тихи, молчаливы и съ большимъ терпѣniемъ «переносятъ свое состояніе». О Василіи Давыдовѣ частая отмѣтка: «Хотя и бываетъ весель, но очень рѣдко». Часто попадается слѣдующая отмѣтка, относящаяся ко всѣмъ: «Запимаются болѣе чтенiemъ священныхъ книгъ». То же въ мартѣ мѣсяцѣ сказано обо всѣхъ вообще: «Между со-«бой очень дружны, харчевые припасы и табакъ кури-«тельный употребляютъ общій, которые доставляются имъ «отъ княгини Трубецкой и Волконской, и нерѣдко одеж-«нныя вещи безъ всякаго въ деньгахъ учета»<sup>1)</sup>. Всѣ

<sup>1)</sup> Рапорты и списки, представляемые начальнику Нерчинскихъ гор-ныхъ заводовъ шихтмейстеромъ Рикомъ, бергъ-гешвореномъ Котлевскимъ

остальная помѣтка въ этомъ родѣ; нигдѣ нѣть дурного отзыва.

Относительно здоровья осужденныхъ имѣется, между прочимъ, рапортъ, отъ 27-го февраля 1827 года, управляющаго медицинскою частью, лѣкаря Владзимирскаго, гдѣ говорится, что «Трубецкой страдаетъ болѣю горла и «кровохарканіемъ. Волконскій слабъ грудью; Давыдовъ «слабъ грудью, и у него открываются раны; у Оболенскаго «цынготная болѣнь съ болѣю зубовъ; Якубовичъ отъ «увѣчья страдаетъ головой и слабъ грудью; Борисовъ «Петръ здоровъ, Андрей страдаетъ «помѣшательствомъ «въ умѣ»<sup>1)</sup>). Прибавимъ отъ себя, что это тихое помѣшательство осталось у А. И. Борисова на всю жизнь. Онъ покончилъ самоубийствомъ въ деревнѣ Разводной подъ Иркутскомъ, 30-го сентября 1854 г., при видѣ брата, скончавшагося внезапно отъ разрыва сердца.

Относительно носимыхъ заключенными оковъ, имѣется въ дѣлахъ Архива Нерчинскихъ горныхъ заводовъ слѣдующій рапортъ<sup>2)</sup>.

Въ Нерчинскую Горную Контору  
бергъ-гешворена Котлевского

Рапортъ.

Его Высокородіе господинъ начальникъ Нерчинскихъ заводовъ и кавалерь, при повелѣніи отъ 24-го сего марта, за № 82, препроводилъ ко мнѣ восемь паръ ножныхъ оковъ, сдѣланныхъ при Нерчинскомъ заводѣ по новому образцу съ замками, съ однимъ у всѣхъ ключемъ для го-

и прапорщикомъ Резановымъ. (Архивъ III Отд. Состѣв. Его Имп. Вел. Канцелярії).

<sup>1)</sup> Архивы: III Отд. Состѣв. Его имп. Вел. Канцеляріи и Нерчинскихъ горныхъ заводовъ.

<sup>2)</sup> Документы, взятые изъ Архива Нерчинскихъ горныхъ заводовъ и сообщенные въ Ист. Вѣсти. П. Труневымъ (Августъ 1897 г. т. LXIX)

сударственныхъ преступниковъ, въ коемъ предписать изволилъ—тѣ оковы записать при дистанціи на приходъ цѣною каждыя по 2 рубля 15<sup>3</sup>/<sub>8</sub> копѣекъ, а вѣсомъ оказались каждыя по 5 фунтовъ, о чмъ Нерчинской главной конторѣ къ свѣдѣнію симъ донесть честь имѣю. Марта 30 дня 1827 года.

Бергъ-гешворенъ Котлевскій.

Пребываніе въ Благодатскомъ рудникѣ и работы въ немъ продолжались до 13-го сентября 1827 года, всего около одинадцати мѣсяцевъ. Генераль Лепарскій, усмотрѣнію которого было предоставлено избрать мѣсто для содержанія декабристовъ, остановилъ свой выборъ на с. Читѣ и распорядился постройкою тамъ большого острога. 9-го сентября, находясь въ Нерчинскомъ заводѣ, онъ сдѣлалъ слѣдующее распоряженіе: «Княгинямъ Волконской и Трубецкой объявить, чтобы онъ отправились «11-го сентября и слѣдовали бы въ Читу въ сопровожденіи унтеръ-офицера Макавеева, которому дать открытое предписаніе, чтобы отъ станціи до станціи давали «для безопасаго проѣзда княгинь по два или по три четвертка конныхъ вооруженныхъ крестьянъ. Затѣмъ, 13-го «сентября отправить всѣ восемь человѣкъ государственныхъ преступниковъ и везти ихъ по указанному маршруту при командѣ изъ унтеръ-офицера и 12-ти казаковъ, находившихся при нихъ въ рудникѣ». Отъ станціи до станціи назначалось по 5-ти конныхъ вооруженныхъ крестьянъ, а на почлегахъ по 6-ти пѣшихъ въ помощь казакамъ. При встрѣчѣ на пути партии ссыльныхъ предписывалось удалять ихъ на иѣкоторое разстояніе отъ большой дороги. «Порядокъ похода на подводахъ» предписано было наблюдать слѣдующій: «Впереди на одной повозкѣ ѿхать унтеръ-офицеру, а за нимъ двумъ повозкамъ казаковъ, двумъ повозкамъ съ арестантами, двумъ сѣ казаками, и въ замкѣ ѿхать послѣдней повозкѣ г-на офицера; крестьянамъ верховымъ ѿхать одному впереди, «а по два по сторонамъ противъ повозокъ арестантскихъ.

«На пути арестантамъ ни съ кѣмъ не позволять говорить «и никого къ нимъ не впускать, хотя бы то были земскіе «или военные чиновники». Одновременно съ этимъ генераль Лепарскій пишетъ Бурнашеву: «При осмотрѣ вчера «распяточного числа на Благодатскомъ рудникѣ государственныхъ преступниковъ, я нашелъ, что изъ нихъ Волконскій, болѣе всѣхъ похудѣвшій, и довольно (какъ мнѣ показался) слабъ, а какъ при перѣездѣ ихъ не встрѣчается на пути, на случай надобности въ лѣкарствахъ, «никакой помощи медицинской, потому прошу Вашего Высокородія дозволить получить отъ княгини Волконской тому г. офицеру, кто отправится съ преступниками, «двѣ бутылки вина мадеры и одну водки, чтобы произвести, по усмотрѣнію его, Волконскому порцію по двѣ «рюмки въ сутки одного изъ сихъ напитковъ» <sup>1)</sup>.

Относительно досмотра и сбереженія вещей, отобранныхъ у заключенныхъ, можно привести слѣдующее характерное предписаніе начальника горныхъ заводовъ:

Нерчинской горной конторѣ.

По просьбѣ жены государстvenаго преступника Сергея Волконского, княгини Волконской, предписываю горной конторѣ, изъ вещей, принадлежащихъ Волконскому, хранящихся при оной конторѣ, отослать на Благодатскій рудникъ къ прaporщику Резанову шинель тонкаго сукна, подбитую ватой, съ бобровымъ воротникомъ и пѣнковую трубку, снявъ съ оной серебряную оправу и оставивъ сю послѣднюю на храненіе съ прочими вещами при сей конторѣ; шинель отослать княгинѣ Волконской на перепшивку оной собственно для нея, а трубку для употребленія преступникомъ Волконскимъ, которая и исключить изъ описи вещей преступника Волконского. 10-го июня 1827 г., № 160 <sup>2)</sup>.

Т. Бурнашевъ.

<sup>1)</sup> Архивъ III Отдѣленія Собств. Его Имп. Вел. Канцеляріи.

<sup>2)</sup> Документы, взятые изъ Архива Нерчинскихъ горныхъ заводовъ и сообщенные въ Историческомъ Вѣстнике П. Труневымъ. (Авг. 1897 г.. т. LXIX).

Относительно выдававшагося содержанія и жалованія приводимъ слѣдующій рапортъ<sup>1)</sup>:

Въ Нерчинскую горную контору  
Благодатской дистанціи

Рапортъ.

Во исполненіе предписанія оной конторы отъ сего числа, за № 4064, о выдачѣ денежной платы и провіанта восьми человѣкамъ государственнымъ преступникамъ, при семъ Нерчинской горной конторѣ дистанція представить честь имѣть расчетъ по 20-е число сего мѣсяца сентября 19-го дня 1827 года, № 948.

Бергъ-гешворенъ Котлевскій.  
Горный писарь Мыльниковъ.

За августъ мѣсяцъ слѣдуетъ государственнымъ преступникамъ жалованья:

Сергѣю Трубецкому . . . . .	— р. 63 $\frac{1}{2}$ к.
Сергѣю Волконскому . . . . .	» 65 $\frac{1}{2}$ »
Артамону Муравьеву . . . . .	» 76 »
Александру Якубовичу . . . . .	1 » 09 »
Евгению Оболенскому . . . . .	1 » 89 $\frac{1}{2}$ »
Андрею Борисову 1-му . . . . .	» 95 $\frac{1}{2}$ »
Петру Борисову 2-му . . . . .	1 » 93 »
Василию Давыдову . . . . .	» 69 $\frac{1}{2}$ »
<hr/>	
Итого . . . . .	8 р. 61 $\frac{1}{2}$ к.
За сентябрь . . . . .	4 » 6 »
<hr/>	
Всего . . . . .	12 р. 67 $\frac{1}{2}$ к.

Подписали: Котлевскій и Мыльниковъ.

<sup>1)</sup> Тамъ же.

15.

Въ Высочайшей инструкціи коменданту, ген.-маіору Лепарскому, о перепискѣ государственныхъ преступниковъ и ихъ женъ, сказано: «Преступникамъ, осужденнымъ въ каторжную работу, воспрещается вовсе писать и посыпать отъ себя письма кому бы то ни было. Женамъ же ихъ позволено посыпать отъ себя письма къ родственникамъ ихъ и къ другимъ лицамъ, но таковыя письма должны онѣ доставлять открытыя г. Коменданту, который обязанъ препровождать ихъ къ Гражданскому Губернатору для дальнѣйшаго отправленія. Письма простыя, а также съ деньгами и посылками, ежели слѣдовать будуть изъ Россіи на имя осужденныхъ въ каторжную работу и ихъ женъ, то по доставленіи ихъ къ Гражданскому Губернатору, который имѣть право раскрывать ихъ, и тѣ, въ коихъ не найдеть ничего противнаго, доставлять къ нимъ по адресамъ, открытыя черезъ Коменданта, отсылая къ нему также деньги и посылки».

16.

Енталыцевъ былъ осужденъ по 7-му разряду къ ссылкѣ въ каторжныя работы на 4 года; по указу 22 августа 1826 года работы были сокращены до года, и Енталыцевъ былъ водворенъ въ 1828 году въ Березовъ, а въ 1830 году переведенъ въ Ялуторовскъ. Въ ссылку послѣдовала за нимъ его жена Александра Васильевна. Тяжело сложилась ея жизнь въ Сибири. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и слѣдующее донесеніе полковника корпуса жандармовъ Келчевскаго отъ 1832 года о ссыльныхъ въ Тобольской губерніи:

«Енталыцевъ въ Ялуторовскѣ, ни съ кѣмъ дружескихъ связей не имѣть и почти никуда не выходить. Жена, раздѣляющая его участіе, привезла съ собой въ Сибирь, для прислуги себѣ, человѣка и девку. Енталыцевъ влю-

бился въ эту дѣвку и ревную къ ней оного человѣка, жестоко поступалъ съ обоими, даже на жену свою, старавшуюся ласками унять его, поднимать руки и успокоился иѣсколько тогда только, когда человѣкъ тотъ женился. Слѣдовало бы удалить дѣвку изъ Ялуторовска, какъ крѣпостную Енталыцевой, ибо есть повелѣніе, чтобы слуги у преступниковъ не были изъ принадлежащихъ семейству его крѣпостныхъ людей».

Енталыцевыхъ преслѣдовалъ рядъ доносовъ, вызвавшихъ тягостная административная разслѣдованія. Съ конца 30-хъ годовъ началась душевная болѣзнь Енталыцева, которая въ 1841 году разрѣшилась въ тихое умопомѣшательство и закончилась смертью въ 1845 году. Послѣ смерти мужа, Енталыцева была оставлена въ Ялуторовскѣ подъ надзоромъ полиціи; въ просьбѣ о разрѣщеніи возвращенія въ Россію ей было отказано, и только по изданіи всемилостивѣйшаго манифеста 26 августа 1856 года она получила дозволеніе вернуться въ Россію. Она выѣхала изъ Сибири въ 1857 году и черезъ годъ скончалась въ Москвѣ.

17.

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая была дочерью французского эмигранта, дѣйствительного камергера и церемоніймейстера графа Ив. Степ. Лаваля. Онъ былъ женатъ на извѣстной миллионершѣ Алдр. Григ. Козицкой и славился своимъ богатствомъ, приемами и широкимъ образомъ жизни. Княгинѣ Трубецкой не суждено было вернуться изъ Сибири: она умерла 14 октября 1854 г.

18.

Жена Никиты Михайловича Муравьевы, Александра Григорьевна урожденная графиня Чернышова, сестра также осужденного въ каторгу графа Захара Григорьевича Чернышова. Она умерла 22 ноября 1832 года. Дочь «Нонушка» вышла впослѣдствии за М. И. Бибкова.

19.

Елизавета Петровна Нарышкина, рожд. графиня Конновицкына (род. 1 апрѣля 1801, ум. 11 декабря 1867 г.), послѣдовала за своимъ мужемъ Мих. Мих., которому, по указу 22 августа 1826 г., каторжныя работы были сокращены до 8 лѣтъ. Въ 1832 году М. М. Нарышкинъ былъ освобожденъ отъ работъ и, по ходатайству тещи своей, поселенъ въ Курганѣ Тобольской губ. Въ 1835 году Нарышкина, больная женщина, попробовала было попросить о перемѣщеніи ея и мужа на югъ Россіи, но Николай Павловичъ положилъ резолюцію: «если Нарышкина полагаетъ, что городъ Курганъ, который, впрочемъ, находится въ самой южной части Тобольской губерніи, по климату своему вреденъ для ея здоровья, то она можетъ избрать для жительства ея съ мужемъ другое мѣсто, въ южной Сибири». Но Нарышкина изъ Кургана не пожелала перейти. Въ 1837 году М. М. Нарышкинъ былъ переведенъ рядовымъ въ Кавказскій корпусъ. Елиз. Петр. поселилась на Кавказѣ въ Прочномъ Окопѣ и сгруппировала въ свой домъ служившихъ въ войскахъ декабристовъ. И здѣсь ей жилось нелегко, такъ какъ мужу часто приходилось принимать участіе въ экспедиціяхъ. Только въ 1843 году Нарышкинъ получилъ чинъ прaporщика, а въ слѣдующемъ году онъ былъ уволенъ отъ службы съ тѣмъ, чтобы проживать въ имѣніяхъ своей жены. Такимъ образомъ Нарышкина возвратилась въ Россію скорѣе всѣхъ другихъ женъ декабристовъ—черезъ 18 лѣтъ.

20.

Наталья Дмитріевна Апухтина родилась 7 апрѣля 1805 года. Дѣвушка мечтательного и пылкаго воображенія и мистическихъ настроеній, уже въ 1821 году она вышла замужъ за своего двоюроднаго дядю, Михаила Александровича Фонвизина, которому въ то время было уже

около 40 лѣтъ. Приговоромъ Верховнаго суда М. А. Фонвизинъ былъ отнесенъ къ 4-му разряду и, послѣ смятченій по указу 22 августа 1826 года, опредѣленъ въ каторжныя работы на 8 лѣтъ. Его жена исполнила свой подвигъ и послѣдовала за нимъ, оставивъ съ великой сердечной болью въ Россіи двухъ сыновей. «Какъ сладостна для меня мысль, что я буду вполнѣ раздѣлять участъ твою! Повѣриши ли, что она украшаетъ мое существованіе!» — писала она мужу въ его заточеніе. Въ 1834 году М. А. Фонвизинъ былъ водворенъ на поселеніе, сначала въ Енисейскѣ, потомъ въ Красноярскѣ и, наконецъ, въ Тобольскѣ. Въ 1841 году Н. Д. Фонвизина умоляла графа Бенкендорфа о разрѣшеніи прѣѣхать въ Россію проститься съ матерью своей, терявшей зрѣніе, обѣщая подчиниться всѣмъ условіямъ и даже не пытаться видѣть своихъ дѣтей. Графъ Бенкендорфъ отвѣтилъ, что «находить невозможнымъ ходатайствовать о подобномъ разрѣшеніи». Въ 1853 году М. А. Фонвизину было разрѣшено вернуться въ Россію для пребыванія въ с. Марьинѣ Бронницкаго уѣзда Московской губерніи. Только 11 мѣсяцевъ прожилъ М. А. Фонвизинъ въ Россіи: 30 августа 1854 года онъ умеръ. Вскорѣ послѣ его смерти Н. Д., по страстной любви, вышла замужъ за декабриста Ив. Ив. Пущина, пережила его и умерла 10 октября 1869 года.

21.

Урожденная Жанетта Поль, Прасковья Григорьевна Анненкова, жизнерадостная и добрая женщина, раздѣлила годы каторги и ссылки своего мужа Ивана Александровича и вмѣстѣ съ нимъ вернулась въ Россію только по манифесту 1856 года. Умерла 14 сентября 1876 года. Ея разсказъ о ссылкѣ былъ напечатанъ въ «Русской Старинѣ» за 1888 годъ.

22.

Объ Александрѣ Ивановнѣ Давыдовой совсѣмъ нѣть

свѣдѣній. Она была простого состоянія, дочь губ. секретаря Ивана Моисеевича Потапова; къ моменту катастрофы у Давыдовыхъ было пятеро дѣтей. Передъ отправлениемъ въ Сибирь ей пришлось размѣстить дѣтей по родственникамъ. Въ Сибири у Давыдовыхъ родилось еще пять человѣкъ дѣтей. Вас. Лѣв. Давыдовъ, одинъ изъ всѣхъ семейныхъ декабристовъ, выразилъ согласіе на перемѣну фамиліи своихъ дѣтей. Умеръ онъ, не дождавшись помилованія, въ Красноярскѣ въ 1855 году. А. И. Давыдову, по словамъ А. Е. Розена, отличали постоянная необыкновенная кротость нрава, всегда ровное расположеніе духа и смиреніе.

23.

«Марія Матвѣевна Мальнева, прекрасная женщина, прѣѣхавъ въ Сибирь, не разставалась болѣе съ княгиней Волконской и умерла въ старости, вскорѣ за нею, въ с. Воронкахъ Черниговской губерніи». (Записки, 74).

24.

Въ сентябрѣ 1829 г. полковникъ корпуса жандармовъ Масловъ, ревизовавшій каторгу и ссылку государственныхъ преступниковъ, доносилъ о преступникахъ, содержащихся въ Читинскомъ острогѣ, что «они все ведутъ себя съ примѣрною кротостю. Слыши, что нѣкоторые изъ ихъ соучастниковъ отправлены въ армію, они оживляются надеждою удостоиться того же. Высочайшую милость объ освобожденіи ихъ отъ оковъ они приняли съ глубочайшимъ умиленіемъ и плакали, когда снимали съ нихъ оковы. Они совершенно обратились къ религіи, читаютъ Священные книги, приглашаютъ къ себѣ священника для богослуженія и допускаются въ церковь для Святаго Причастія, но тогда не позволяетъ жителямъ никому приходить въ церковь. На земляную работу употребляются ежедневно по три часа утромъ и по два послѣ обѣда;

въ свободное оть работы время занимаются разными рукодѣліями, чтеніемъ и изученіемъ другъ у друга языковъ: нѣкоторые учатся даже монгольскому и еврейскому. Плацъ-адъютанты, при осмотрѣ казармъ, обязаны наблюдать также, чтобы никто изъ преступниковъ не имѣть книги, не подписанной комендантомъ. Имъ не даютъ сочиненій, касающихся государственного управлѣнія. Когда занимающіеся какимъ-нибудь ремесломъ перестаютъ работать, то всѣ инструменты у нихъ отбираются и хранять подъ замкомъ. Присылаемыя имъ письма коменданты тщательно разсматриваются, а деньги хранятся въ Горномъ казначействѣ и выдаются имъ по мѣрѣ надобности, съ величайшею осмотрительностью.

Когда дошелъ въ Читу слухъ, что ссылочный каторжный въ Нерчинскихъ заводахъ Суханинъ \*) составилъ тамъ заговоръ бѣжать, ограбить всѣ казенные мѣста и проч. и что онъ замышлялъ также освободить государственныхъ преступниковъ, то они приняли это извѣстіе съ негодованіемъ и говорили, что готовы пожертвовать жизнью въ доказательство, что никогда не примутъ участія въ такомъ дѣлѣ.

Содержащіеся въ Читѣ преступники размѣщены въ трехъ, обнесенныхъ крѣпкимъ тыномъ, отдѣленіяхъ, въ одномъ 50 человѣкъ, а въ двухъ по десяти. Кромѣ внутренняго караула, стоятъ часовые и вѣнѣ острога: у воротъ и по угламъ. По пробитіи вечерней зори, дежурный офицеръ и плацъ-адъютантъ осматриваютъ казармы и запираютъ до утренней зори. Въ оградѣ первого отдѣленія преступники развели садъ и сами построили теплицу. Хозяйствомъ ихъ завѣдуется выборный между ними на срокъ артельщикъ, который покупаетъ припасы и заботится о кухнѣ; стряпаетъ у нихъ напитый изъ поселенцевъ поваръ, при пособіи одного изъ государственныхъ преступниковъ, подъ надзоромъ унтеръ-офицера. За обѣ-

домъ и ужиномъ у нихъ по два блюда: щи и жаркое, а иногда и каша».

Въ январѣ 1830 года тотъ же полковникъ Масловъ доноситъ:

«Жены осужденныхъ въ каторжную работу государственныхъ преступниковъ, прибывъ въ Читу, принуждены были, по тѣснотѣ острога, жить въ своихъ домахъ, имѣя свиданіе съ мужьями только дважды въ недѣлю. А какъ эти несчастныя женщины, покинувшія дѣтей своихъ и родителей и отказавшіяся отъ всѣхъ правъ и выгодъ своего состоянія, чтобы услаждать злополучную участь мужей, лишены этой единственной отрады, то, во исполненіе Высочайшей резолюціи, послѣдовавшей на докладъ о семъ, коменданть Лепарскій сдѣлалъ распоряженіе, чтобы до выстройки Петровскаго острога, гдѣ есть особыя палаты для женатыхъ преступниковъ, они проводили свободные отъ работъ часы, отъ зори до зори, въ домахъ своихъ женъ, которая такъ этимъ были довольны, что когда ихъ слѣдовало перевести въ Петровскій острогъ, онѣ, (М. Волконская, А. Муравьевъ, Е. Нарышкина, Давыдова, Н. Фонъ-Визина, К. Трубецкая) обратились съ письмами къ графу Бенкендорфу, объясняя, что правила, которымъ подвергаются жены, запертыя съ мужьями въ острогѣ, весьма жестоки, между прочимъ лишаются всякой прислути, а какъ онѣ всѣ имѣютъ дѣтей, или беременны, то имъ нельзя обойтись безъ прислути; сверхъ того имъ сказали, что въ Петровскомъ острогѣ комнаты, для нихъ построенные, темны и сыры, что ихъ крайне беспокоитъ на счетъ здоровья дѣтей и проч.—просили оказать имъ ту же милость, какою пользуются въ Читѣ».

Донесеніе Маслова было доложено Николаю Павловичу, который положилъ слѣдующую резолюцію 14 августа 1830 года:

«Новый острогъ сдѣланъ по чертежу, который мнѣ показанъ былъ; строенъ на сто человѣкъ, а ихъ осталось не болѣе 30; стало будеть тамъ все удобство для помѣщенія съ женами и дѣтьми».

\*) Сухиновъ, см. дальше.

25.

Кн. Волконская въ этомъ мѣстѣ оставила пробѣль для заполненія его именами содергавшихся въ Читинской каторгѣ декабристовъ. Число ихъ не было постояннымъ. Баронъ А. Е. Розенъ даетъ слѣдующія обѣ этомъ свѣдѣнія: «Сначала было нась въ Чите 84 человѣка, а по отъѣздѣ 6-го разряда на поселеніе—Толстого въ Грузію и Корниловича въ Петропавловскую крѣпость, — осталось нась 70 человѣкъ. Вновь прибывшихъ, осужденныхъ не вмѣстѣ съ нами, но особымъ судомъ, привезли къ намъ: Игельстрома, Вегелина, Рукевича и трехъ бывшихъ офицеровъ Черниговскаго полка: барона Соловьева, Мозглевскаго и Быстрицкаго».

26.

Штабсъ-капитанъ Александръ Осиповичъ Корниловичъ (ум. въ 1834), осужденный въ четвертомъ разрядѣ къ каторжнымъ работамъ на 15 лѣтъ, едва только началъ отбывать свою каторгу, какъ былъ увезенъ съ соблюденіемъ таинственныхъ предосторожностей въ С.-Петербургъ. Только въ самое послѣднее время съ опубликованіемъ архивныхъ документовъ (въ статьѣ П. Е. Щеголева «Благоразумные совѣты изъ крѣпости»—Современникъ, 1913, февр., мартъ), стали известны причины увоза Корниловича. Правительство, разслѣдуя заговоръ, стремилось узнать, вліяли-ли на заговорщиковъ иностранныя державы, и, въ частности, Австрія черезъ своего представителя при русскомъ дворѣ, графа Лебцельтерна, женатаго на дочери графа Лаваль. (Другая его дочь была замужемъ за княземъ С. П. Трубецкимъ). Изъвестный Фаддей Булгаринъ изложилъ свои мнѣнія по этому поводу и указалъ, что такимъ проводникомъ австрійского вліянія могъ быть Корниловичъ. Для того, чтобы допросить его и выведѣдать отъ него всѣ нити австрійской ин-

триги, его и привезли секретно изъ Читы въ Петропавловскую крѣпость; допросили и, конечно, убѣдились, что Корниловичъ не былъ австрійскимъ агентомъ, ни сознательнымъ, ни безсознательнымъ, но въ Сибирь его не вернули, а оставили въ крѣпости. Корниловичъ былъ чоловѣкъ образованный, бывалый и смѣтливый. Бенкендорфъ примѣнилъ его познанія къ дѣлу, предложивъ ему писать записки и излагать свои мнѣнія по различнымъ вопросамъ русской государственной жизни. Николай Павловичъ прочитывалъ эти записки и разсыпалъ ихъ въ соответствующія министерства къ свѣдѣнію. Только въ 1832 году Корниловичъ былъ освобожденъ изъ крѣпости и отосланъ рядовымъ на Кавказъ.

27.

Въ «Русской Старинѣ» (1878, май) были опубликованы письма кн. М. Н. Волконской къ свекрови, княгинѣ Александрѣ Николаевнѣ Волконской. Приводимъ два письма, относящихся къ 1829 году: одно изъ нихъ (второе) даетъ намъ возможность представить, какъ подѣйствовало на М. Н. извѣстіе о смерти ея отца Н. Н. Раевскаго.

I.

5-го іюля 1829 г.—Острогъ Чита.

Сегодня Сергіевъ день, милая маменька, и, съ тѣхъ поръ какъ мы женаты, я имѣю въ первый разъ счастіе провести его съ мужемъ. Въ первый годъ я была въ Одессѣ, а онъ въ лагерѣ; 1826-й годъ быть преисполненъ страданіемъ для нась, а съ тѣхъ поръ этотъ день не совпадалъ никогда съ нашими свиданіями. Но теперь мой добрый Сергій со мной, онъ окружаетъ меня, какъ и прежде, вниманіемъ и любовью. Вы подумаете о нась, добрая маменька, и сквозь ваши слезы благословите нась отъ глубины сердца.

Вы желаете намъ счастія въ будущемъ, но судьба наша не измѣнится и не можетъ измѣниться; я не обманываю

себя на этот счетъ. Мой мужъ испивает чашу страданія съ покорностю и твердостю, а я съумѣю все перенести возлѣ него. Будьте же спокойны на нашъ счетъ, обожаемая маменька; да не будуть ваши драгоцѣнныя дни омрачены нашей судьбой, какъ скоро она неизмѣнна. Здоровье вашего сына очень хорошо; онъ много занимается своимъ садикомъ, нашимъ домашнимъ хозяйствомъ, словомъ—всѣмъ. Я ни во что не вмѣшиваюсь, и все для меня готово, словно чародѣйствомъ, какъ и въ былое время. Прощаюсь съ вами, цѣлую ваши ручки миллионъ разъ. Передайте отъ меня много нѣжностей Репнинамъ. Прося вашего благословенія для Сергѣя и для меня, остаюсь ваша покрная дочь Марія Волконская.

II.

8-го декабря 1829 года.—Чита, острогъ.

Вы видѣли изъ предыдущаго моего письма, обожаемая маменька, что мнѣ известна вся глубина моего несчастія. Тотъ, къ кому вы обратились съ письменной просьбой приготовить меня къ удару, предупредилъ ваше желаніе и оказался достойнымъ довѣрія лучшей изъ матерей. Онъ антѣль-хранитель, дозволяющій мнѣ все возможное, чтобы облегчить мое страшное положеніе. Мы сохранимъ ему вѣчную признателность<sup>1)</sup>.

Сергѣй и я—мы у вашихъ ногъ. Онъ за мной ухаживаетъ, не отходить отъ меня и принялъ мое несчастіе почти такъ же горячо, какъ я сама. Милая маменька, поберегите ваше здоровье ради нашего счастія и спокойствія. Нельзя перенести двухъ разъ того, что я испытываю въ эту минуту.

Я получила письмо моей доброй сестры Репниной, но, къ душевному сожалѣнію, не могу отвѣтить ей сегодня. Ей я обязана первымъ облегченіемъ въ моемъ страданіи. Я столько упрекала себя за письма, которыми огорчала отсюда обожаемаго отца, а наканунѣ своей смерти онъ

<sup>1)</sup> Рѣчь идетъ о комендантѣ Лепарскомъ.

говорилъ обо мнѣ съ похвалой и любовью, показывая мой портретъ доктору Фишеру. Не могу вамъ сказать какую отраду доставили мнѣ эти подробности. Благословляю добрую сестру, которая мнѣ ихъ сообщила, и обнимаю ее отъ глубины сердца. Цѣлую руки ея мужа и прошу его благословенія.

Сергѣй и я, мы здоровы, милая маменька; въ доказательство скажу вамъ, что онъ уже диктуетъ мнѣ письма къ постороннимъ лицамъ. Пока у меня останется хоть искра жизни, я не могу отказать въ услугахъ и помочи столькимъ несчастнымъ родителямъ. Я катаюсь каждый день въ саняхъ: господинъ комендантъ этого требуетъ и присыпаетъ мнѣ всегда свои сани.

Прежде нежели прощусь съ вами, обожаемая маменька, прибѣгну опять къ вамъ: во все это время мои люди такъ за мной ухаживали, они показали мнѣ столько усердія и такую привязанность, что я повторяю вамъ мою просьбу на счетъ Ефима. Прошу васъ также и объ Машѣ, моей горничной. Мнѣ бы не хотѣлось, чтобы одинъ изъ нихъ получилъ отпускную прежде другого. Исполните мою просьбу, добрая маменька, и я это приму какъ личную для меня милость. Цѣлую ваши ручки за Сергѣя и за вашу покорную дочь, Марію Волконскую.

28.

Иванъ Ивановичъ Сухиновъ (а не Сухининъ, какъ пишетъ М. Н. Волконская), изъ свободного состоянія Херсонской губерніи, началъ службу рядовымъ и въ 1825 году состоялъ въ чинѣ прапорщика въ Черниговскомъ полку подъ начальствомъ С. И. Муравьевъ-Апостола. Хотя въ этомъ году онъ и былъ переведенъ въ Александрийскій гусарскій полкъ, онъ все-таки принялъ участіе въ восстаніи Черниговскаго полка, бѣжалъ, добрался до Кишинева и здѣсь былъ арестованъ. Смертная казнь, назначенная судомъ, была замѣнена вѣчной каторгой. Въ 1828 году, будучи на каторгѣ въ Зарентуйскомъ рудникѣ,

быть инициаторомъ побѣга каторжанъ, быть вновь при-  
сужденъ къ смертной казни, но до исполненія ея удавился  
въ тюрьмѣ 1-го декабря 1828 года.

29.

Баронесса Анна Васильевна Розентъ, урожденная Малиновская, вышла замужъ 19 апрѣля 1825 года. При отправлениі въ Сибирь ей запретили взять сына. Мужъ ея былъ осужденъ на 6 лѣтъ каторжныхъ работъ и, по отбытии ихъ, въ 1832 году поселенъ въ Курганъ Тобольской губерніи. Въ 1837 году А. Е. Розентъ, назначенный рядовымъ въ Кавказскій корпусъ, выѣхалъ на Кавказъ вмѣстѣ со своей женой. Получивъ отставку, онъ жилъ въ Харьковской губерніи. Здѣсь и умерла Анна Васильевна Розентъ въ 1884 году.

30.

Марья Казимировна Юшневская отъ первого брака имѣла дочь. Отправляясь въ ссылку за мужемъ, она хотѣла взять съ собой дочь, но въ этомъ ей было отказано на томъ основаніи, что «она не соединена съ Юшневскимъ тѣсными узами». По словамъ Бенкendorфа, Государь Николай Павловичъ далъ ей совѣтъ «не заключать себя тамъ, откуда она, можетъ быть, тщетно пожелаетъ возвратиться». Мужъ М. К., Юшневский поступилъ въ каторжную работу 20 декабря 1827 года и, по окончаніи оной, въ 1839 году былъ поселенъ въ с. Кузьминскомъ, а затѣмъ въ Малой Разводной, Иркутской губерніи. Умеръ 10 января 1844 года. Марья Казимировна осталась въ Сибири и неоднократно, но тщетно просила разрѣшенія вернуться въ Россію. Въ семье Юшневскихъ жилъ и учился Н. А. Бѣлоголовый, оставилшій свои воспоминанія о декабристахъ.

31.

Камилла Петровна Ивашева, рожд. Ле-Дантю, родилась 17 июня 1808 года. Послѣ отбытия каторги Ивашевъ былъ поселенъ въ 1836 году въ Туринскъ Тобольской губерніи. Здѣсь 28 декабря 1839 года скончалась отъ нервической горячки Камилла Петровна. Ровно черезъ годъ въ тотъ же день умеръ здѣсь же и Ивашевъ. Малолѣтнимъ ихъ дѣтямъ, сыну и двумъ дочерямъ, разрѣшено было вернуться въ Россію.

32.

Фердинандъ Богдановичъ Вольфъ, штабъ-лѣкарь, коллежскій ассесоръ, по указанію Алфавита, «принять въ Союзъ Благоденствія въ 1818 году. Въ 1821 году, по объявлениіи уничтоженія онаго, присутствовалъ въ Тульчинскомъ засѣданіи о продолженіи общества и согласился участвовать въ ономъ. Раздѣляль цѣль—введеніе республиканского правленія, съ изведеніемъ тѣхъ лицъ, которыхъ представлять въ себѣ непреодолимыя препоны, и одобряль рѣшительный, революціонный образъ дѣйствія. Слышаль о успѣхахъ Сергея Муравьевъ-Апостола въ привлечениіи на свою сторону солдатъ. Вообще, онъ оказывается болѣе раздѣлявшимъ тайные замыслы, нежели дѣйствующимъ по обществу лицомъ и желавшимъ или отстать отъ общества, или чтобы оное уничтожалось. При первыхъ допросахъ былъ неоткровененъ. «По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 июля 1826 года конфирированному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу на 20 лѣтъ. Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ 15 лѣтъ, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири. Поступилъ въ каторжную работу въ Нерчинскіе рудники 7 марта 1827 года. Высочайшимъ указомъ 14-го декабря 1835 года освобожденъ изъ онай и обращенъ на

поселеніе въ сел. Уриковское, Иркутской губерніи и округа. Въ февралѣ 1845 года по Высочайшему повелѣнію переведенъ въ г. Тобольскъ, «съ предоставлениемъ ему права заниматься, по прежнему, частнымъ врачеваніемъ больныхъ, при строгомъ наблюденіи полиції». Вольфъ пользовалъ всѣхъ, обращавшихся къ нему, и слава о немъ, какъ объ опытномъ и искусномъ докторѣ, разнеслась по всей Сибири. Декабристъ Анненковъ, обращаясь въ февралѣ 1837 года по начальству съ просьбой разрѣшить Вольфу пріѣхать къ нему подать помошь его сыну, писалъ: «я не прошу васъ прислать другого доктора. Вамъ извѣстно самимъ, что въ самомъ Иркутскѣ предпочитаютъ г-на Вольфа прочимъ и довѣряютъ болѣе его искусству». Для семейныхъ декабристовъ Вольфъ былъ сущимъ благодѣтелемъ. Кн. Волконская рѣшилась беспокоить гр. Бенкendorфа просьбой о поселеніи мужа около Вольфа. Сохранилось ея письмо къ генераль-губернатору Восточной Сибири отъ 1 августа 1836 года. «Милостивый Государь, Семенъ Богдановичъ! При размѣщеніи второго разряда, мужу моему дано было на выборъ: ѻхать въ Идинскую волость или остаться въ Петровскомъ Заводѣ. Находя, что первое изъ этихъ мѣсть слишкомъ удалено отъ всякаго медицинскаго пособія, въ которомъ семейство мое часто имѣеть нужду, и лишившись здѣсь съ отѣзломъ Фердинанда Богдановича Вольфа столь существенной для нась пользы, я рѣшилась въ прошломъ юнѣ мѣсяцѣ писать къ графу Бенкendorфу о помѣщеніи Сергея Григорьевича въ одномъ мѣстѣ жительства или, по крайней мѣрѣ, по близости отъ Фердинанда Борисовича. По письму моему, вѣроятно, Его Сиятельство предоставить рѣшеніе сей просьбы Вашему усмотрѣнію, въ такомъ случаѣ прошу Ваше высокопревосходительство оказать съ Вашей стороны содѣйствіе и назначить намъ на жительство то же селеніе, гдѣ находится Фердинандъ Богдановичъ, или въ верстахъ четырехъ или восьми отъ него.— Вы—сами отецъ семейства и можете взвѣсить причины, по которымъ я даю себѣ право беспокоить Васъ; Вамъ

понятно мое чувство, и Вы въ полной мѣрѣ оцѣните признательность матери, которая утруждаетъ Васъ по любви и обязанности къ дѣтямъ». Умеръ Вольфъ 24 декабря 1854 года.

33.

Подполковникъ корпуса инженеровъ путей сообщенія Гавріиль Степановичъ Батенковъ (1793—1863)—одинъ изъ выдающихся людей, примкнувшихъ къ тайному обществу. «Былъ членомъ общества со дня смерти покойного Императора, но еще прежде вступленія питалъ образъ мыслей, согласный съ духомъ онаго. Въ совѣщаніяхъ предъ 14 декабря участвовалъ и подавалъ мнѣнія, хотя иклонившіяся къ достижению цѣли общества, однако, болѣе умѣренныя и ограничивающіяся однимъ стремлѣніемъ къ введенію конституціоннаго правленія, стараясь впрочемъ оградить во время переворота общее спокойствіе и удалить всякую возможность отъ грабежа и убийства. Когда при немъ сказано было, что можно забраться и во дворецъ, то онъ возразилъ: «дворецъ долженъ быть священное мѣсто; если солдатъ до негокоснется, то уже ни отъ чего удержать его будетъ невозможно». Готовясь къ участію въ предпріятіи общества, которое, какъ онъ показалъ, для достижения своей цѣли считало необходимымъ принести на жертву нынѣ царствующаго императора, онъ питалъ честолюбивые виды быть членомъ временнаго правленія и надѣялся, въ видѣ регентства, управлять государствомъ подъ именемъ его высочества Александра Николаевича. Наконецъ, раскаявшись въ преступленіи своемъ, онъ далъ присягу нынѣ царствующему императору и въ возмущеніи 14 декабря никакого участія не принималъ»

Итакъ, сами слѣдователи не обнаружили никакой дѣятельности Батенкова по тайному обществу. Тѣмъ не менѣе, по приговору Верховнаго Уголовнаго Суда, онъ былъ осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ

въ каторжныя работы на 20 лѣтъ. По Указу отъ 22 августа 1826 года повелѣно оставить его въ работахъ 15 лѣтъ, а затѣмъ обратить на поселеніе въ Сибири. Но и этого показалось мало. Въ Сибирь на каторгу Батенковъ не былъ посланъ, а былъ оставленъ въ одиночномъ заключеніи, сначала въ Свартгольмской крѣпости, а съ іюня 1827 года въ Алексѣевскомъ равелинѣ Петропавловской крѣпости. Продержали его въ одиночкѣ не много, не мало—около 20 лѣтъ—до февраля 1846 года. Немудрено, конечно, что во время заключенія онъ переживалъ періоды временнаго умопомѣшательства. Графъ А. Ф. Орловъ возбудилъ вопросъ объ измѣненіи участіи Батенкова въ 1846 году. Комендантъ крѣпости Скобелевъ на запросъ Орлова отвѣчалъ: «Арестантъ этотъ въ особенности заслуживаетъ попеченія «о немъ тихимъ, кроткимъ поведеніемъ и пріимѣрною покорностью». 25 января 1846 года графъ Орловъ спрашивалъ Скобелева: «Какъ поступить съ нимъ безъ вреда общественнаго, если освободить его изъ крѣпости?—«Дозволить жить во внутреннихъ городахъ Россіи», отвѣчалъ Скобелевъ, «неловко, по вліянію, какое могутъ имѣть его разсказы о 20-лѣтнемъ заключеніи, но, пользуясь свободой въ Тобольскѣ или Томскѣ, подъ присмотромъ полиції, онъ будетъ на своемъ мѣстѣ». По всеподданнѣйшему докладу, въ февралѣ 1846 г., разрѣшено отправить его на жительство въ г. Томскъ, съ учрежденіемъ за нимъ тамъ строгаго наблюденія. Доживъ до помилованія, онъ, въ 1856 году, получилъ разрѣшеніе переехать въ Калугу, и только въ 1859 году былъ снятъ съ него полицейскій надзоръ, и на этомъ оканчиваются официальная о немъ свѣдѣнія.

34.

Михаилъ Сергеевичъ Лунинъ, одинъ изъ самыхъ пріимѣчательныхъ декабристовъ. Исторія его жизни крайне любопытна. Человѣкъ высшаго свѣта, онъ служилъ въ кавалергардахъ, въ 1816 году вышелъ въ отставку и уѣ-

халъ въ Парижъ. Здѣсь онъ былъ въ сношеніяхъ съ выдающимися людьми того времени и обратился въ католичество. Вернувшись, вновь служилъ въ войскахъ литовскаго корпуса, передъ арестомъ онъ былъ подполковникомъ л.-тв. Гродненскаго гусарскаго полка. Лунинъ былъ славенъ своимъ молодечествомъ, независимостью въ дѣйствіяхъ и словахъ, остроумiemъ, большой начитанностью и образованіемъ. Въ «Алфавитѣ» о немъ написано:

Принять въ Союзъ Благоденствія въ 1817 году. Участовалъ на совѣщаніи въ Москвѣ, при вызовѣ Якушкина на цареубійство и съ того времени неоднократно случалось ему слышать въ разсказахъ сочленахъ своихъ о покушеніяхъ на жизнь покойнаго государя; а въ 1818 или 1819 году, разсуждая объ открытии дѣйствій, о насильственныхъ мѣрахъ, онъ самъ упоминаль, въ случаѣ неудачи, о средствѣ умертвить Императора на царскосельской или другой какой-либо дорогѣ. Читалъ и одобряль нѣкоторые отрывки Русской правды Пестеля. Присутствовалъ въ собраніи Коренной думы въ 1820 году, но голоса на республику не подавалъ, ибо всегдашнее его мнѣніе было—введеніе конституціи съ ограниченной исполнительною властію. Ему извѣстно было о мнимомъ уничтоженіи общества въ 1821 году; онъ одобряль сю мѣру; но при всемъ томъ безуспѣшный и непостоянный ходъ занятій Общества побудилъ его оставить оное. Въ продолженіи послѣдніхъ пяти лѣтъ онъ прекратилъ всѣ сношенія съ членами, однако чистосердечно сознается, что при другихъ обстоятельствахъ, вѣроятно, дѣйствовалъ бы въ духѣ общества.

По приговору верховнаго уголовнаго суда, 10 июля 1826 года Высочайше конфирированному, осужденъ къ лишенію чиновъ и дворянства и къ ссылкѣ въ каторжную работу на 20 лѣтъ.—Высочайшимъ же указомъ 22 августа повелѣно оставить его въ работѣ пятнадцать лѣтъ, а потомъ обратить на поселеніе въ Сибири.

Поступилъ въ каторжную работу въ Нерчинские рудники, 11 апрѣля 1828 года.

Высочайшимъ указомъ 14 декабря 1835 года освобождень изъ оной и обращеніе на поселеніе въ сел. Уриковское, Иркутской губ. и округа. Съ февраля 1841 года находился въ Нерчинскѣ (въ Акатуѣ), подъ строгимъ заключеніемъ, за составленіе рукописи, подъ заглавиемъ: «Взглядъ на русское тайное общество съ 1816 по 1826 года». 3-го декабря 1845 г. умеръ скоропостижно.

По сообщенію кн. М. С. Волконскаго (Записки кн. М. Н. Волконской, Спб. 1904, стр. 174), изъ дѣла III отдѣленія о Лунинѣ видно, что «Взглядъ на русское тайное общество» онъ написалъ еще въ Петровскомъ заводѣ для коменданта Лепарскаго; впослѣствіи же, въ Урикѣ, сообщилъ ее декабристамъ Иванову и Громницкому, поселенному въ с. Бѣльскѣ. Этимъ сообщеніемъ ограничились съ его стороны «распространеніе» записки, въ которомъ онъ былъ обвиненъ. Пслѣднюю получилъ уже отъ Громницкаго учитель гимназіи Журавлевъ, снялъ съ нея копію и читаль приставу Черепанову, священнику Добросердову и полиціймейстеру Василевскому. Дѣло было раскрыто и поднято чиновникомъ Успенскимъ, руководившимъ и обыскомъ, произведеннымъ у Лунина, при которомъ найдены: 1) указанная рукопись: «Взглядъ на русское тайное общество 1816—1826 гг.», на французскомъ языке; 2) записка на англійскомъ языке: «Разборъ доносенія Слѣдственной Комиссии надъ государственными преступниками 1826 г.», его же 3) краткая рукопись: «Мысли религіозныя и политическія—замѣчанія о законахъ и разныхъ мѣрахъ правительственныхъ»; 4) письмо декабриста Завалишина, просящаго о пособіи; 5) историческая записка объ «Анадырскомъ острогѣ за полвѣка назадъ»; 6) историческое сочиненіе о древней Греціи, и 7) нѣсколько стихотвореній политического содержанія, переписанныхъ Лунинымъ.

35.

Кн. М. С. Волконскій на основаніи документовъ, взятыхъ преимущественно изъ Архива III Отдѣленія, слѣдующимъ образомъ разсказываетъ о томъ, какъ возникло требованіе объ обязательной перемѣнѣ фамиліи дѣтей декабристовъ и какъ отнеслись къ нему декабристы.

«Въ началѣ 1841 года, по почину графа Бенкendorфа, по случаю предстоявшаго бракосочетанія наслѣдника цесаревича Александра Николаевича, послѣдовала Высочайшая воля о разсмотрѣніи, въ видахъ Монаршаго милосердія, вопроса «о дѣтяхъ, рожденныхъ въ Сибири отъ сосланныхъ туда государственныхъ преступниковъ, вступившихъ въ бракъ въ дворянскомъ состояніи до постановленія о нихъ приговора». Для этого потребовались предварительныя справки, и были доставлены слѣдующія свѣдѣнія: у Сергея Волконскаго—сынъ Михаилъ и дочь Елена, у Никиты Муравьевъ—дочь Софія, у Сергея Трубецкого—дочери: Александра, Елизавета и Зинаида, у Александра Муравьевъ—сынъ Никита, у Василия Давыдова—сыновья: Василій, Иванъ и Левъ, дочери: Александра и Софія, у Ивана Анненкова—дочь Ольга и сыновья: Владимиръ, Иванъ и Николай, у Василія Ивашева (умершаго)—сынъ Петръ и дочери: Марія и Ольга.

«Изъ перечисленныхъ здѣсь только дѣти С. Г. Волконскаго, Н. М. Муравьевъ, С. П. Трубецкого и В. Л. Давыдова подходили подъ вышеозначенную категорію лицъ, указанныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи <sup>1)</sup>). Такъ опредѣлилъ это и управляющій Министерствомъ Юстиціи, графъ Панинъ, въ отвѣтѣ своемъ отъ 14 янв. 1842 года графу Бенкendorfu, спрашивавшему его о томъ, какія бы онъ полагалъ принять мѣры по исполненію Высочайшей воли. Что же касается сихъ послѣднихъ, то графъ Панинъ высказалъ, что онъ полагалъ бы возможнымъ принять

<sup>1)</sup> Впослѣствіи мѣра эта была распространена и на дѣтей А. Е. Розена.

слѣдующія: «1) дѣтей мужескаго пола, достигшихъ возраста, въ который они могутъ поступить въ военноучебныя заведенія, отдать, буде того пожелаютъ родители, въ кадетскій корпусъ, съ тѣмъ, что они утверждены будуть въ правахъ дворянства токмо по выпускѣ изъ корпуса, если заслужать сей милости нравственнымъ поведеніемъ, хорошими правилами и успѣхами въ наукахъ; 2) дѣтей женскаго пола, равнымъ образомъ, по желанію родителей и по достижениіи установленнаго возраста, отдать въ учебныя заведенія, состоящія подъ надзоромъ правительства, и 3) дѣтямъ обоего пола не дозволять носить фамиліи, коей невозвратно лишились ихъ отцы, но именоваться по отчеству, т.-е. Сергеевыми, Никитинными и Васильевыми». Спрошенный по этому предмету управляющій 2-мъ Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, д. т. с. Блудовъ, вполнѣ согласился съ мнѣніемъ графа Панина. Въ Высочайшемъ повелѣніи, послѣдовавшемъ за симъ по общему всеподданнѣйшему докладу Блудова, графа Панина и графа Бенкendorфа 21-го февраля 1842 года и сообщенномъ графомъ Бенкendorфомъ генераль-губернатору Руперту къ исполненію, эти условія повторены буквально<sup>1)</sup>.

Сосланные въ Сибирь отнеслись къ Монаршей волѣ, какъ къ великой милости, но одно изъ условій произвело не только на нихъ и родственниковъ, но и на всѣхъ лицъ, узнавшихъ о томъ въ Сибири, удручающее впечатлѣніе, а именно: требование отъ дѣтей ихъ перемѣны фамиліи. Въ немъ они видѣли желаніе уничтожить въ послѣдующихъ поколѣніяхъ даже и эту связь съ отцами и предками. Приписывалось это жестокосердію, которое одни относили къ самому Государю, а другіе обвиняли докладчика, графа Бенкendorфа. Изъ приведенныхъ документовъ видно, что починъ этой мѣры принадлежалъ графу Панину.

<sup>1)</sup> О томъ, чтобы это Высочайшее повелѣніе о наименованіи дѣтей государственныхъ преступниковъ, при опредѣленіи ихъ въ учебныя заведенія, всегда принималось общимъ закономъ, сообщено также вспомогательному и другимъ министрамъ.

Генераль-губернаторъ Рупертъ вызвалъ къ себѣ Волконскаго, Муравьеву и Трубецкого и, объявляя имъ Высочайшую волю, наставлялъ на безусловномъ ея принятіи, при чёмъ потребовалъ отъ каждого изъ нихъ письменного отзыва. Но рѣшился принять сдѣланное предложеніе только поселенный въ г. Красноярскѣ В. Л. Давыдовъ, имѣвшій, кромѣ четверыхъ дѣтей, оставленныхъ въ Петербургѣ, еще пятерыхъ, воспитаніе которыхъ въ Сибири встрѣчало большія затрудненія<sup>1)</sup>; остальные трое отказались. Н. М. Муравьевъ, въ отзывѣ на имя генерала Руперта (отъ 19 апр. 1842 г. изъ села Урикъ) высказалъ: «Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ, при торжествованіи своего брака, обратилъ умиленные взоры на участіе дѣтей нашихъ и пожелалъ, чтобы пламенныя молитвы матерей, отцовъ и сиротъ вознеслись за него къ престолу Божіему. Государь Императоръ поручилъ комитету изыскывать средства къ осуществленію великодушной мысли Цесаревича, но члены онаго не были одушевлены христіанскимъ высокимъ чувствомъ юной души. Отнятіе у дочери моей фамильного ея имени поражаетъ существо невинное и бросаетъ тѣнь на священную память матери и супруги». С. П. Трубецкой писалъ того же числа, изъ села Оѣкъ генералу Руперту, между прочимъ, слѣдующее: «До глубины души исполненный чувствомъ живѣйшей признательности къ вниманію, Все-милостивѣйше обращенному на женъ и дѣтей нашихъ, смѣю уповать, что Государь Императоръ, по милосердію своему, не допустить наложить на чело матерей незаслуженное ими пятно и, лишениемъ дѣтей фамильного имени отцовъ, не причислить ихъ къ незаконнорожденнымъ». При этомъ оба отъ милости Царской отказывались. Того же числа изъ села Урикъ С. Г. Волконскій писалъ генералу Руперту: «Частыя и сильныя болѣзни сына моего совершенно разстроили его здоровье. Въ положеніи семъ,

<sup>1)</sup> Сыновья его воспитывались впослѣдствіи къ корпусахъ, подъ именемъ Васильевыхъ, и только въ 1856 году получили обратно принадлежащее имъ имя.

не только предназначение къ военной службѣ, но и самое путешествие его изъ Сибири въ Россію будетъ для него несомнѣнно пагубнымъ. Дочь моя еще ребенокъ, и что можетъ ей замѣнить заботливое попеченіе матери? Существованіе жены моей такъ совершенно слито съ благополучіемъ и жизнью ея дѣтей, что одна мысль о возможности разлуки сдѣлалась для нея мученіемъ. Должны-ли дѣти мои вступить въ свѣтъ съ горькою увѣренностью, что отецъ ихъ купилъ имъ житейскія выгоды новыми страданіями и самою жизнью ихъ матери? На сердце, уже полное любви и добродѣтели, Государя Цесаревича и Наслѣдника, возлагаю я нераздѣльную судьбу жены и дѣтей моихъ и, чрезъ сердобольное ходатайство Его, испрашиваю милости не лишать дѣтей моихъ имени, переданного имъ святостью брака родителей, имени, которое изгладить въ ихъ памяти можно только съ уничтоженіемъ сыновней въ нихъ любви. Симъ отзывомъ имѣю честь отвѣтствовать на предложеніе, сдѣланное мнѣ чрезъ Ваше Высокопревосходительство».

Генераль Рупертъ слѣдующимъ образомъ отнесся къ искренности чувствъ, выраженныхъ въ приводимыхъ письмахъ: «Я приглашалъ къ себѣ», пишетъ онъ графу Бенкендорфу, «поселенныхъ вблизи Иркутска государственныхъ преступниковъ: Волконского, Муравьеву и Трубецкого и лично объявилъ имъ то безконечное снисхожденіе и высокую, неизреченную милость, которую угодно было явить Государю Императору относительно возвращенія изъ Сибири и воспитанія дѣтей ихъ, изложивъ при этомъ подробно всѣ выгоды, имѣющія сопровождать сіе безпредѣльное благодѣяніе къ нимъ Отца-Монарха; но, къ крайнему огорченію и прискорбію, не могъ не замѣтить, что настоящая милость и состраданіе Его Величества не нашли ни малѣйшаго отголоска въ сердцахъ этихъ холодныхъ, закоренѣлыхъ эгоистовъ. Вместо умиленія, безусловной покорности, благодарности и благоговѣнія, съ коими бы слѣдовало принять и исполнить милосердную волю Царя, они обнаружили лишь одну суевѣнность, про-

тиворѣчіе и неопределѣленность своихъ желаній, такъ что я вынужденъ былъ, наконецъ, приказать имъ, посовѣтовавшись съ женами, изложить отвѣты свои въ продолженіе 48-ми часовъ, на письмѣ. Эти письменные отзывы имѣю честь почтительнѣше представить у сего на благоусмотрѣніе Вашего Сіятельства вмѣстѣ съ вы требованымъ мною чрезъ г. Енисейскаго гражданскаго губернатора таковыми же отъ поселенаго въ Красноярскѣ преступника Давыдова.

«Изъ нихъ Ваше Сіятельство усмотрѣть изволите, что одинъ только Давыдовъ умѣлъ понять и вполнѣ почувствовалъ всю благодать снисхожденія и милосердія доброго Государя, и потому одинъ достоинъ воспользоваться настоящею высокою Монаршею милостію. Что же касается до Волконскаго, Муравьеву и Трубецкого, то обнаруженная ими неготовность къ принятію ея, вслѣдствіе какогото неизѣяснимаго упрямства и себялюбія, по мнѣнію моему, должна навсегда лишить ихъ всякаго права на какое бы то ни было снисхожденіе Правительства».

О томъ, какъ взволнована была жестокимъ требованиемъ правительства кн. М. Н. Волконской, можно судить по письму ея къ брату, А. Н. Раевскому, въ которомъ она дѣлаетъ видъ, что не вѣрить возможности насильственнаго разлученія съ дѣтьми. Оно писано по полученіи изъ Петербурга извѣстія о тяжкой болѣзни зятя, М. Ф. Орлова.

«Дорогой мой Александръ. Когда душа моя болитъ, я останавливаюсь на самой себѣ и на тѣхъ, кто мнѣ дорогъ, и одного прошу я у благости Божией, сохраненія ихъ дней, да пошлетъ Онъ здоровье и чистую совѣсть дѣтямъ нашимъ, да не допустить Онъ никогда моей разлуки съ ними; это единственное мое желаніе, и я полагаюсь на милость Его относительно ихъ будущаго. Въ минуты нашихъ тревогъ за жизнь нашего дорогого Михаила<sup>1</sup>), Сергеѣй получилъ, 16-го числа этого мѣсяца,

<sup>1)</sup> Вскорѣ затѣмъ, послѣ смерти Н. М. Муравьеву, скончавшагося въ Урикѣ 28 апрѣля 1843 года, его дочь, ставшая круглою спротой, была

бумагу, изъ которой мы видимъ новое доказательство сердечной доброты Великаго Князя Наслѣдника, который хочетъ пріобщить насколько возможно, ко всѣмъ радостнымъ событиямъ своей жизни, тѣхъ, кто страждеть. Благодаря его посредничеству, предлагается материамъ, послѣдовавшимъ въ Сибирь за ихъ мужьями, отдать ихъ дѣтей для помѣщенія мальчиковъ въ кадетскіе корпуса и дѣвочекъ въ институты, но съ условіемъ заставить ихъ на всегда отказаться отъ фамиліи ихъ отцовъ и называться просто Сергеевыми, Никитинами и т. д., смотря по имени отца. Прежде чѣмъ сказать вамъ мое мнѣніе объ этомъ послѣднемъ условіи, я должна выразить чувство благодарности, наполняющей мое сердце, за то, что Его Императорское Величество поручаетъ обратиться къ нашему материнскому чувству въ такомъ серьезному вопросѣ. Такое сердечное отношеніе глубоко меня трогаетъ; если я это говорю, то, значитъ, чувствую: фразъ я не люблю, вы это знаете. Это не согласно ни съ моимъ характеромъ, ни съ высотой несчастія.

«Теперь обратимся къ самому факту. Отказаться отъ имени отца, это такое униженіе, подвергнуть которому своихъ дѣтей я не могу взять на себя; не будутъ ли они въ правѣ когда-нибудь потомъ поставить мнѣ это въ упрекъ? По совѣсти, передъ Богомъ и передъ людьми, я не должна этого дѣлать; это значило бы заклеймить ихъ въ глазахъ каждого, дать имъ видъ незаконнорожденности, чего ни одна мать не могла бы вынести. Дорогой мой Александръ, вы, который меня знаете, не приписывайте этого, умоляю васъ, ни горечи, ни оскорбленному самолюбію, это лишь крикъ моего сердца. Развѣ я не знаю, какъ трудно соединить добро, которое хотятъ намъ дѣлать, съ положеніемъ, въ которомъ мы находимся; вѣримся же Богу, свидѣтелю страданій, чрезъ которыхъ прошло мое сердце за послѣдніе три дня. Онъ сжалится надо

принята въ Московскій Екатерининскій институтъ съ фамиліей «Никитина», а двѣ дочери С. П. Трубецкого—въ иркутскій дѣвичий институтъ, гдѣ онѣ сохранили, однако, свое имя.

мною. Мой сынъ не можетъ принять участія въ решеніи этого вопроса, такъ какъ мнѣ не дано права мечтать о его карьерѣ, но я даже не увѣрена въ сохраненіи его жизни; отъ самого рожденія онъ былъ существомъ слабымъ и хилымъ до того, что когда пришло повелѣніе выпустить насъ на поселеніе, то первымъ моимъ порывомъ было написать графу Бенкendorфу и просить его поселить насъ вмѣстѣ съ бывшимъ докторомъ Вольфомъ, куда бы судьба ни забросила этого послѣдняго; вотъ мѣра моихъ опасеній и моей вѣры въ науку того, который столько разъ спасалъ жизнь моего сына. И теперь еще я далеко не успокоилась за него; прошедшими лѣтомъ его чуть не унесла тяжелая болѣзнь; его слабость такъ велика, что глаза до сихъ поръ страдаютъ, и здоровье колеблется. Неллиныка еще слишкомъ мала, чтобы можно было думать о ея воспитаніи; да и что же ей нужно кромѣ ухода матери? Если Богъ сохранилъ ей мать, то за что же люди лишать ее матери? Словомъ, жить съ моими дѣтьми и для нихъ—это условіе моей собственной жизни, разлучить насъ значило бы произнести приговоръ надо мною. Дорогой мой Александръ, я слишкомъ взволнована въ эту минуту, чтобы продолжать писать; состояніе здоровья Михаила Орлова меня также крайне мучаетъ; съ нетерпѣніемъ жду успокоительного о немъ слова; я не смѣю писать Катенькѣ, но я ее понимаю, вижу, раздѣляю всѣ ея муки. Богъ да благословить ее и всѣхъ васъ. Цѣлую и благословляю вашего дорогого ребенка».

«Опасенія княгини Волконской были, къ счастью, напрасны—пишетъ ея сынъ кн. М. С. Волконскій—но душевные волненія, черезъ которыхъ она прошла при этихъ обстоятельствахъ, и боязнь, что, несмотря на отказъ родителей, дѣти все-таки будутъ отъ нея отняты, такъ потрясли ее, что она впала въ продолжительную и опасную болѣзнь, оставившую на здоровье ея тяжелый следъ на всю жизнь. Съ тѣхъ поръ она постоянно хворала и не могла болѣе вернуть своего крѣпкаго здоровья». (Записки, 178—188).

36.

Кн. М. С. Волконский сообщает следующие данные о своем учитель: «Юліан Сабинский участвовал въ дѣлѣ Конарского и въ 1839 г. приговоренъ къ 20-лѣтнимъ каторжнымъ работамъ, сокращеннымъ впослѣдствіи на 10 лѣтъ, и сосланъ былъ въ Восточную Сибирь одновременно съ Олизаромъ, Яржиной, Руцинскимъ, Рошковскимъ, Киселемъ, Михальскими отцомъ и сыномъ, Косаковскимъ и Немировскимъ. Въ 1843 году освобожденъ и поселенъ въ с. Грановскомъ Иркутского округа. Помилованный, онъ выѣхалъ въ 1857 году въ Каменецъ-Подольскую губернию, где принялъ участіе въ противоправительственныхъ манифестаціяхъ 1861 года; за это долженъ быть высланъ на жительство въ Тамбовскую губернию, но, по болѣзни, оставленъ въ г. Черниговѣ и скончался въ этомъ городѣ 76 лѣтъ отъ роду, весною 1868 года. Былъ человѣкъ весьма образованный, отлично знавшій древніе и нѣсколько новыхъ языковъ». (Записки, 190).

Здѣсь же приведена следующая выдержка изъ письма княгини М. Н. Волконской къ графу А. Ф. Орлову отъ 25 февраля 1846 года:

«Графъ! у меня нѣть болѣе родителей, вы это знаете, нѣть никого, кто бы могъ за меня ходатайствовать; я обращаюсь къ вамъ и прошу поддержать меня въ томъ затруднительномъ положеніи, въ которомъ я нахожусь. Страдая уже нѣсколько лѣтъ постоянной болѣзнью сердца и боясь не перенести ея, я озабочена мыслью, что не даю достаточно хорошаго образованія сыну, а, съ другой стороны, разлука съ нимъ нанесла бы смертельный мнѣ ударъ при такомъ состояніи моего здоровья. Вотъ почему я желала бы, чтобы онъ прошелъ курсъ гимназіи въ Иркутскѣ, где, воспитаніемъ въ общественномъ учебномъ заведеніи, онъ обеспечилъ бы себѣ спокойную будущность. Итакъ, я умоляю васъ, графъ, исходатайствовать милостивое

соизволеніе Государя Императора на разрѣшеніе сыну моему поступить приходящимъ ученикомъ въ Иркутскую гимназію, и я буду обязана Его Величеству спокойствіемъ остальныхъ дней моей жизни. Графъ! не съ формальнымъ прошеніемъ обращаюсь я къ вамъ, а съ просьбою матери, которая говорить вамъ со всею искренностью и уповаю на соизволеніе своего сердца».

По мнѣнію генерала Руперта, это ходатайство «заслуживало уваженія, тѣмъ болѣе, что публичное воспитаніе есть лучшее средство дать юному уму направленіе, согласное съ видами правительства». Графъ Орловъ испросилъ на это Высочайшее соизволеніе, причемъ о перемѣнѣ имени вопроса и не подымалось.

40696



# ДЖЭКЪ ЛОНДОНЪ

Собрание сочинений с предисловием  
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

- Томъ I. Морской волкъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
" II. Обреченные. Игра. Ц. 1 р.  
" III. Вѣра въ человѣка. Рассказы. Ц. 1 р.  
" IV. Приключения рыбачьяго патруля. Ц. 1 р.  
" V. Сынъ волка. Лунный ликъ. Ц. 1 р.  
" VI. Голосъ крови. Повѣсть. Ц. 1 р.  
" VII. Сынъ Солнца. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
" VIII. Дочь Снѣговъ. Романъ. Ц. 1 р.  
" IX. Бѣлый Клыкъ. Повѣсть. Ц. 1 р.  
" X. Мартинъ Идэнъ. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.  
" XI. До Адама. Повѣсть. Ц. 1 р.  
" XII. Приключение. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
" XIII. Когда боги смеются. Рассказы. Ц. 1 р.  
" XIV. Любовь къ жизни. Ц. 1 р.  
" XV. Мои скитанія. Ц. 1 р.  
" XVI. Дѣти тропиковъ. Ц. 1 р.

Чудесный талантъ!.. Въ Джэкѣ Лондонѣ я люблю его спокойную силу, твердый и ясный умъ, гордую мужественность... И молодому Джэку Лондону принадлежитъ славное мѣсто среди сильныхъ. Талантъ его свѣжъ и прочень, выдумка богата, опытъ огроменъ.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

... Экзотическая повѣсти Джэка Лондона производятъ чарующее, неотразимое впечатлѣніе.

А. КУПРИНЪ.

Въ лицѣ Лондона мы имѣемъ дѣло съ крупно одареннымъ художникомъ, истиннымъ поэтомъ «Божию милостію». Отъ души привѣтствуемъ переводъ бодрыхъ, здоровыхъ, яспыхъ рассказовъ Джэка Лондона.

„СОВРЕМЕННЫЙ МИРЪ“.

# КЕЛЛЕРМАНЪ

Собрание сочинений въ 4-хъ томахъ.

Переводы: З. Журавской, А. Даманской, Б. Бычковской.

- Томъ I. Идіотъ. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.  
" II. Море. Романъ. Ц. 1 р.  
" III. Ингеборгъ. Романъ. Ц. 1 р.  
" IV. Туннель. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.

Въ духѣ и стилѣ Кнута Гамсуна выдержаны эти книги („Море“). Островъ моряковъ напоминаетъ тотъ Шекспировскій островъ, на которомъ обиталъ безобразный Калибанъ... Въ этомъ „пріятномъ мірѣ“ люди нерѣдко теряютъ Божій образъ и подобіе... И все-таки это больше жизнь, чѣмъ та, которую ведемъ мы... Изъ этой дикости... Келлерманъ создалъ нечто своеобразное и увлекательное, сильнѣйшіе и человѣческія фигуры въ одну причудливую картину...

Ю. Айхенвальдъ.

Вся книга о морѣ, это—зовь, кличъ, на который хочется откликнуться изъ пѣна культурныхъ городовъ...

— Викаръ Грау (герой романа „Идіотъ“) напоминаетъ многими чертами князя Мышикина... Вся эта книга пронизана лунной тишиной, тихими лунатичными безуміемъ и прозорливостью... Книга прочитана, и въ сердцѣ тихая печаль... Романъ „Ингеборгъ“—это книга о молодости и весеннемъ безуміи, о любви и знойныхъ страданіяхъ, и счастье, которое дѣлаетъ „мудрымъ и добрымъ“.

— Кто разъ заглянулъ въ творческий ликъ такого поэта, какъ Келлерманъ, тотъ благодарно и навсегда удержитъ его въ своей памяти.

А. Даманская.

„Идіотъ“ это пѣснь любви, готовой на подвигъ и самопожертвование, любви дѣятельной и творческой, которой, можетъ быть, держится міръ.

— „Туннель“—гимнъ бодрому, здоровому культурному труду.

— Бернгардъ Келлерманъ—одинъ изъ самыхъ талантливѣйшихъ немецкихъ беллетристовъ, блестящий художникъ слова... Всѣ произведения К.,—это сплошное словословіе бытія, нескончаемый псаломъ сердца, патетическая симфонія Духа и Разума.

„Одесская Жизнь“.

## АМФИТЕАТРОВЪ, А. В.

- Паутина. Романъ. Издапіе 2-е. Ц. 1 р. 25 к.  
Аглай. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
Раздѣль. Романъ. (455 страницъ). Ц. 2 р. 25 к.  
Викторія Павловна. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
Дочь Викторіи Павловны. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.  
Марья Лусьевна за-границей. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.  
Женское нестроеніе. Ц. 1 р. 50 к.  
Девятисотники. Романъ. Часть I. Ц. 1 р. 50 к.  
Девятисотники. Романъ. Часть II. Ц. 1 р. 50 к.  
Сумерки божковъ. Романъ. Часть I. Ц. 1 р. 25 к.  
Сумерки божковъ. Романъ. Часть II. Ц. 1 р. 50 к.  
Противъ теченія. Ц. 1 р.  
Антики. Ц. 1 р. 25 к.

„А. В: Амфитеатровъ ярко талантливъ, много на своемъ вѣку выдѣль и между прочими достоинствами обладаетъ однимъ превосходнымъ и рѣдкимъ, какъ белый воронъ среди черныхъ, достоинствомъ—великолѣпнымъ русскимъ языкомъ, богатымъ, сочнымъ, своеобычнымъ, но вѣто же время безъ вывертокъ и щегольства... Это настоящій писатель, отмѣченный при рожденіи поцѣлуемъ Аполлона въ уста“.

„Русское Слово“ 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВЪ.

## СТЕПНЯКЪ-КРАВЧИНСКІЙ, С. М.

Собрание сочиненій подъ редакціей С. А. Венгерова.

- Томъ I. Штурманъ Павелъ Руденко. Ц. 1 р.  
„ II. Подпольная Россія. Ц. 1 р.  
„ III. Домикъ на Волгѣ. Ц. 1 р.  
„ V. Эскизы и силуэты. Ц. 1 р.  
„ VI. Критика и публицистика. Ц. 1 р.